



Галина Иосифовна Серебрякова

М А Н О Н Р О Л А Н

По изданию:

Г.Серебрякова. Женщины эпохи Французской революции

Веб-публикация: Марта и редакторы Vive Liberta, 2003

Правда, Гатьен Флипон был неплохим гравером, но ремесло это не давало больших доходов. Желая разбогатеть, он открыл на набережной Часов в Париже ювелирную лавку и занялся продажей драгоценных камней, тяжелых медальонов, блестящих пряжек, колец, браслетов, табакерок. Не без зависти Гатьен следил за тем, как его друзья, такие же презируемые аристократией представители третьего сословия, спекулируя на поставках, занимаясь ростовщичеством, ловко прибирали к рукам имущество разорявшейся придворной знати. Но Гатьен Флипон - любитель выпить и поиграть в карты - не разбогател, и ему пришлось довольствоваться скромной участью мастера-ювелира. Он жил в обществе незначительных и небогатых городских мещан и безызвестных художников, пришедших в Париж за славой, которых умело эксплуатировал в своей граверной мастерской. Сколотив маленькое состояние, ювелир начал подумывать о женитьбе. Барышня Маргарита Бимон показалась Гатьену подходящей невестой. Она удачно подражала манерам дам-аристократок, была скромна и послушна. После свадьбы Маргарита с большой грацией и любезностью умела угождать капризным заказчицам и покупателям, которых в носилках, украшенных резьбой и позолотой, приносили

слуги к ювелирной лавке на набережной Часов. Ее обязанностью было также наблюдать за работой учеников и подмастерьев мужа, вести счета и хозяйство. Из семи детей четы Флипон осталась в живых только одна дочь Манон-Жанна, родившаяся в Париже в 1754 году.

Когда двухлетняя девочка вернулась из деревни, где жила у кормилицы-крестьянки, в дом ювелира, Гатьен Флипон стал хвастать дочерью так же, как сложными украшениями, сделанными его мастерской рукой. Хорошенькая Манон была действительно сообразительным и способным ребенком. Ей не было еще пяти лет, когда на чердаке дома в забытых сундуках она нашла старые заплесневевшие и пожелтевшие книги и по ним почти без посторонней помощи выучилась читать, вызвав шумные одобрения взрослых. У Манон не было друзей-сверстников. Самовлюбленность ювелира и необщительность его жены лишили ее детского общества, никто в квартале не казался родителям достойным товарищем их дочери. Манон редко выпускали одну из старого, плохо вентилируемого дома на улицу, живописно сползавшую к зеленой Сене. В дождливые летние дни она никогда с оравой соседских детей не шлепала босыми ножонками по скользким теплым лужам, приподняв длинную юбочку. Никогда не лазала она на старые деревья, чтоб оттуда бросать каштаны в добродушных пешеходов, не дразнила бездомных собак, не высмеивала расфранченных аристократов, подобно цапле задирающих в осеннюю слякоть ноги, обутые в шелковые туфли. С раннего детства Манон усвоила насмешливо-презрительный тон по отношению к детям своего квартала. Дочь ювелира неудержимо влекло к нарядным и завитым, как она сама, юным аристократкам, которые, однако, откровенно ею гнушались. Ничто не могло приблизить Манон к ним: ни ее любезность, ни то, что десяти лет она уже прочла Плутарха, была поражена его героями, плакала над гениальным Торквато Тассо, лучше всех отвечала «Песнь песней» в приходской школе и удивляла соседей цитатами из Вольтерова «Кандида». Бабушка Манон была только прислугой маркизы Креки, а отец - мелкий лавочник: вот что решало ее судьбу и было для нее источником затаенного мучительного горя.

Манон тщетно старается скрыть обиду, когда в замке Фонтенэ ее с матерью помещают в каморках, где ютятся слуги, кормят в буфетной и во время празднества разрешают лишь через решетку сада смотреть на пестрый дождь и костры фейерверка. Но на

набережной Часов честолюбивая девочка чувствует себя принцессой, переодетой по недоразумению в замарашку. В нише своей комнаты с узеньким оконцем, похожим на бойницу, Манон каждый день любит отражением неба в водах Сены. Она по-книжному любит природу, полагая, что это обязательная особенность «исключительных натур». Напрасно Гатьен пытается обучать дочь граверному мастерству, рассчитывая сделать ее своей помощницей. Легко усваивая тонкую работу резцом, Манон бросает это ремесло, пугаясь возможности стать в будущем всего лишь хозяйкой ювелирной лавки. С каждым днем укрепляется в ней самомнение, и вместе с этим все труднее становится помогать в стряпне матери и - что еще унизительнее - ходить на базар за овощами или куском мяса. Манон подчиняется «судьбе» смиренно, но в мемуарах, вспоминая эту пору почти тридцать лет спустя, не может удержаться от сожаления: «Эта малютка, которая прекрасно могла объяснить законы движения небесных светил, которая рисовала карандашом и тушью и в восемь лет танцевала лучше всех на вечере, где были взрослые девицы, эта малютка часто бывала принуждена идти на кухню, чтоб изжарить яичницу или сварить суп».

Одиннадцати лет Манон по собственному желанию поступила в монастырь Нев-Сент-Этьен. в предместье Сен-Марсель. В монастыре, расположенном в парке, заросшем столетними густыми деревьями, по ее словам, Манон предалась размышлениям о вечности и о боге. В монастыре находились еще тридцать четыре воспитанницы, настолько «обыкновенные и неинтересные», что Манон с трудом подыскала себе подруг. Госпожа Ролан, никогда не обладавшая излишней скромностью, впоследствии красочно описывает в мемуарах, как «светское обхождение, ум и знания ребенка подчиняли ему окружающих». Сестры Канне, уроженки Амьена, в виде исключения удостоенные дружбы Манон, беспрекословно ей подчинялись и благоговели перед ней всю жизнь.

Каждое воскресенье в монастырь приезжали родители учениц. В белой, незатейливо убранной деревянной мебели приемной монастыря сидели, ожидая дочерей, смущенные строгими лицами монахинь отцы и матери. Это были мелкие фабриканты, торговцы и зажиточные ремесленники. Гатьен Флипон, гордый отец «первой ученицы», встречал появление дочери громкими восклицаниями, неуклюжими, объятиями и поцелуями. Дни посещений не

доставляли радости Манон, она не могла побороть в себе противоречивых чувств: нежности к родным и стыда за их демократический вид, речи и положение в свете. Мир казался ей тогда чрезвычайно жестоким и несправедливым.

По истечении года Манон покинула монастырь. Прощание было трогательным; плакали воспитательницы, подруги Манон, но особенно горевали сестры Канне. Во время разлуки между подругами завязалась обширная переписка, полная грустных или насмешливых излияний, иногда остроумных и злых характеристик, поучений, признаний, незначительной болтовни, составившая впоследствии два тома переписки госпожи Ролан.

В доме бабушки, парализованной старухи, где несколько лет жила Манон, и позднее в тесной квартирке родителей барышня Флипон, поощряемая к тому родней, занята только собой. Монастырское влияние, вернувшее ей примитивную религиозность, борется с влиянием заново продуманных строк Вольтера, Рейналя, Мабли и впервые прочитанного Руссо. Просвещенной девице трудно верить в сказку о муках ада и о превращении черта в змею: она ищет ответа на свои сомнения в метафизике и философии, увлекаясь также историей и вопросами морали. При всем том она подолгу не отрывается от зеркала. Стараясь казаться беспристрастной, самовлюбленная до глупости юная мещаночка описывает свою наружность в следующих выражениях:

«В моем лице не было ничего поражающего, кроме большой свежести кожи и мягкости выражения; если рассмотреть все черты в отдельности, то можно задать себе вопрос, где здесь, собственно, заключается красота; нет ни одной правильной черты, но, взятые вместе, они нравятся. Рот мой немного велик, можно встретить тысячи более красивых, но ни одного с более нежной и увлекательной улыбкой. Глаза, напротив, не особенно велики, они серовато-синего цвета. Глаза немного выдаются, взор открытый, свободный, живой и мягкий; каштановые брови, совпадающие по цвету с волосами, красиво очерчены. Глаза меняют выражение, подобно любвеобильной душе, движение которой они отражают; иногда они поражают серьезностью и гордостью, но чаще они улыбаются и ласкают. Нос причиняет мне некоторое огорчение, я нахожу его несколько толстым в конце, но в ансамбле, особенно в профиль, он не нарушает гармонии. Широкий, открытый лоб, глубокие глазные впадины, между которыми ясно обозначается V с выступающими при малейшем возбуждении жилками; эта складка и

эти жилки спасают мой лоб от той незначительности, которую находишь у многих других. Подбородок, выдающийся вперед, цвет кожи не особенно белый, но живой, с ослепительными красками. Красивая круглая рука, приятная, хоть не очень маленькая кисть, здоровые ровные зубы, пышная фигура - вот те сокровища, которыми одарила меня мать-природа».

Прислушиваясь к звучанию своего имени, Манон опять не в силах умолчать перед потомством о своем мнении по этому важному поводу: «Да, Манон, так меня зовут, я жалею об этом, имея в виду любителей романов; это не громкое имя, оно не подходит к героине высшего порядка. Но в конце концов это мое имя, и я пишу свою историю. Кроме того, даже самые сентиментальные люди примирились бы с этим именем, если бы они слышали, как произносила его моя мать, и видели ту, которая его носила».

Итак, если верить Манон, она была очаровательна. Жители набережной Часов не остались равнодушными к ее талантам и красоте. Брачные предложения сыпались со всех сторон, но мог ли какой-нибудь торговец рассчитывать на то, что за его прилавком, блестя грацией и умом, будет сидеть Манон. Еще менее того могла бы снизить дочка ювелира до брака с добропорядочным ремесленником или поставщиком, которые никогда и не слыхивали обо всем том, что она знала. Манон отказывала, огорчая отца и мать, всем претендентам; для нее был невыносим муж, подобный ее отцу, которого она втайне презирала, подчеркивая свое превосходство. Ах, как Гатьен Флипон громко храпел на необъятной постели, как цинично шутил и ругался, залпом опустошая кружку вина, отплевываясь, икая и багровея.

Однажды Манон, проходя по базару с плетеной старенькой корзинкой, точно с букетом цветов, остановилась у громоздких желтых, красных и синих туш мясной лавки, чтобы выбрать кусок мягкой говядины. Из-за прилавка вдовец-мясник, красный, как его измазанный кровью фартук, смотрел на хорошенькую девицу с нескрываемым обожанием.

У него было пятьдесят тысяч ливров капитала, и дочка Гатьена Флипона, дела которого были неважны, могла вполне считать брак с ним выгодным, - все это обдумывал мясник, пока Манон весьма прозаически ощупывала скользкий кровотокающий кусок. Мясник отдал ей лучшую телячью грудинку за бесценок и пригласил заходить ежедневно. Своеобразное ухаживание продолжалось недолго, и нетерпеливый влюбленный вскоре появился

напудренный и украшенный золотой цепью часов поверх кафтана в доме Гатьена Флипона. В этот раз он поднес Манон розу вместо хорошего мясного вырезка и попросил ее обвенчаться. Манон, как «настоящая дама», сдержала свое негодование и отослала мяснику с босым мальчишкой отрицательный ответ, изложенный в изысканных выражениях.

Разборчивость Манон все чаще тревожила ювелира, и как-то за обедом, улав подмастерьев, он учинил ей грозный допрос. Манон не скупилась на слова, говоря, что никогда не пойдет замуж за человека «из простонародья»: ей нужен муж, с которым она могла бы делить чувства и мысли. Гатьен, уважающий себя и в своем лице всех торговцев, важно заметил, что купцы обладают хорошими манерами и образованием. Манон насмешливо отвечала, что умение кланяться и подражать богатым покупателям не называется «хорошими манерами» и образованием. В этом сословии, заявила решительно барышня Флипон, нет людей в ее вкусе: «Подумать только, что источником заработка купца является перепродажа по более дорогим ценам купленных товаров». Для того, чтобы заниматься вместе с мужем торговлей, не нужно было родиться такой, как она. Гатьен не нашел ответа, но почувствовал себя обиженным.

В летние жаркие дни Манон часто ездила в Медон, расположенный в нескольких лье от Парижа. Сквозь густую листву виднелся Париж, исчезающий иногда, как город сказки, за поднимающимся туманом. Манон любила в городской гуще выискивать башни Нотр-Дам, крыши дворца Тюильри и, следя за Сеной, похожей на заснувшую светлую рыбу, находить набережную Часов. В небольшом кабачке в лесу всегда был сытный, дешевый обед, во время которого крепкий, как деревья медонского леса, кабатчик отпускал веселые шутки и грубоватые каламбуры, смущавшие Манон. Пока родители или тетка, добрая старая дева, отдыхали на траве, поглощенные послеобеденным пищеварением, Манон гуляла в лесу, собирала в чаще цветы, не забывая грациозно наклоняться, или на уединенной полянке, сидя над прудом, как Нарцисс, в прозрачной воде искала свое отражение. Медон, похожий на дворцовый запущенный сад, будил в ней честолюбивые грезы. В мемуарах госпожи Ролан Медону отведено несколько поэтических строк: «Восхитительный Медон, как часто я в твоей тени вдыхала милый ароматный воздух, благословляя при этом

создателя и мечтая о совершенстве, испытывая чарующее желание позолотить облака будущего лучами надежды».

Незаметно и бессловесно умерла Маргарита Флипон. Гатьен Флипон, которого несколько сдерживали горестные просьбы жены, овдовев, почувствовал себя освобожденным и помолодевшим. Картежная игра быстро повела его к разорению. Испуганной надвигающейся нищетой Манон поневоле пришлось заняться лавкой в мастерской отца. Обязанности хозяйки магазина незаметно сблизили ее с интересами и нуждами по набережной Часов.

Пораженная несправедливостью, несказанным политическим бесправием, унижением и препятствиями, чинимыми ее сословию, Манон впервые начинает желать для Франции республики, знакомой ей по книгам древних. «Несомненно, что наше положение сильно влияет на образование нашего характера и наших убеждений, но можно сказать, что данное мне воспитание и идеи, приобретенные мною из книг и от окружающих, - все это соединилось, чтобы создать мои убеждения; мне казались смешными и несправедливыми все привилегии и сословные различия. В моем чтении на меня производили особое впечатление борцы против неравенства. Когда я присутствовала при выезде королевы и принцев или видела изъявления благодарности богу при разрешении королевы от бремени, я с болью чувствовала всю противоположность между этой азиатской роскошью, этим бесстыдным великолепием и бедностью и униженностью народа, который в своем ослеплении спешит лицедреть им же созданных идолов и бессмысленно рукоплещет тому блеску, который он сам оплачивает отказом от самого необходимого». Личное будущее не раз тревожит Манон, и когда некий наблюдательный господин предсказывает ей, что она станет писательницей, обрадованная и польщенная девушка тотчас хватается за такую возможность, но скоро отказывается от этого пути. «Мужчины не любят женщин-писательниц, женщины критикуют их, - думала она. - Если женское творчество плохо, его высмеивают, если хорошо - его приписывают другим».

Как-то раз в декабре 1772 года, когда дочка ювелира хлопотала у печи, помогая приходящей прислуге варить похлебку для отца и подмастерьев, отрываясь от этого занятия только, чтоб, наспех сбрасывая фартук, выбегать в магазин, обворожительно улыбаться покупателям и расхваливать товар, на пороге лавки появился пожилой мужчина. Манон уже собиралась приветствовать его

неизбежным традиционным вопросом, что именно из драгоценностей ему угодно купить, как вошедший неловко протянул ей письмо. Письмо было от монастырской подруги Манон Софьи Канне и являлось рекомендацией посетителю. Софья круглыми завитыми буквами писала: «Это письмо будет передано тебе философом господином Ролан де ля Платиер, о котором я тебе часто говорила. Это образованный и благородный человек; его можно упрекнуть только в излишнем преклонении перед древними в ущерб современникам, которых он ценит низко, да, кроме того, в слабости охотно говорить о себе». Манон немедленно пригласила господина Ролана де ля Платиер, внимательно к нему приглядываясь, в уютную, чрезмерно заставленную мебелью столовую.

Господин Ролан давно уже перешагнул за сорок. Все в нем внушало равнодушное почтение и отражало раз навсегда установленные привычки: и темное сукно кафтана, и толстые бумажные чулки, туфли-лодочки с большими бантами, и покачивающаяся походка, упрямый взгляд тяжелодума, светлые приглаженные волосы, не скрывающие лысины. Говорил он медленно, скучно, много, не слушая собеседника, молчал рассеянно, смеялся громко и добродушно. Манон без труда разглядела его умственную ограниченность, недюжинные знания и утомительные принципы. Она была равна ему разве только в самомнении, но обладала зато способностью подмечать во всех, кроме себя, смешное и слабое. Манон постигло разочарование, когда выяснилось, что аристократическое де ля Платиер не означало принадлежности Ролана к дворянству. Однако новый знакомый Манон имел доходное имение и хороший служебный пост инспектора мануфактур в промышленном провинциальном городе. Барышня Манон признавалась себе, что Ролан - философ, ученый и к тому же не бедняк - мог бы стать для нее подходящим мужем. Но господин Ролан не спешил высказывать свои планы на этот счет, хотя приходил часто, просиживал долго, без конца рассказывая о Германии, где уже был, об Италии, куда собирался съездить, постоянно осведомляя Манон о своих размышлениях, о своем здоровье и недовольстве людьми, которые его не понимают.

Идеи Ролана были отчетливы: слишком педантичный и любящий покой, он не утруждал себя сомнениями. Ролан требовал прав для третьего сословия, которому служил, осуждал министерство Людовика, разнузданность двора, поступки королевы,

хвалил Англию, ее законы и пуританизм. В течение нескольких месяцев Ролан не появлялся у Манон, он путешествовал по Италии, но, вернувшись во Францию, инспектор мануфактур по-прежнему регулярно посещает квартирку ювелира и резонерствует, не щадя терпения Гатьена Флипона, который не мог выносить его многословия. Жизнь барышни Флипон текла однообразно, в свободные часы она много читала и любила это подчеркнуть: книги по астрономии, физике, математике, химии, истории лежали раскрытыми на ее столе.

Прошло уже пять лет со времени знакомства Манон и Ролана, когда старый холостяк рискнул наконец посвататься. Мансн нерешительно ему отказала, внезапно испугавшись будущего, объясняя отказ своей бедностью, нежеланием стать обузой мужу. Невозмутимо вежливый и раздражающе безразличный Ролан, не настаивая, покинул набережную Часов. Тщетно ждала его возвращения Манон, тотчас же раскаявшаяся в опрометчивом поступке.

Ролан не возобновлял своих домогательств и, казалось, исчез навсегда. Огорченная оборотом сватовства Ролана, Манон решила временно поселиться в монастыре, где провела в детстве спокойные дни. Там ей нравится дрессировать волю, ограничивая свои потребности и обрекая себя на лишения и полуголодное существование.

Лишь по истечении шести месяцев, уже неожиданный, в монастырь явился Ролан. В прежних выражениях, не переставляя слов, инспектор мануфактур повторил свое брачное предложение и получил поспешное согласие. Манон пишет об этом следующее: «Если брак, как я думаю, есть серьезный союз, соединение, при котором женщина обыкновенно берет на себя устройство счастья двух людей, то не лучше ли посвятить мои способности и мужество этой почтенной задаче, нежели уединению, в котором я живу».

Без иллюзий и радости двадцатилетняя Манон Флипон обвенчалась с Роланом в 1780 году. Через год Ролан переводится на службу в Амьен, где находятся подруги Манон София и Генриетта Канне. Семейная жизнь Роланов в Амьене непередаваемо монотонна; желание Манон быть добродетельной и примерной женой осуществляется с большим трудом. По нескольку часов в день Ролан усыпляющим ровным голосом диктует жене свое новое сочинение об Италии, госпожа Ролан занимается также перепиской черновиков и правкой гранок. Она выполняла эту работу без

возражений, так как позволяла себе не только переправлять, но и дописывать самостоятельно кое-что в подготавливаемую книгу. Уверенная в том, что отлично владеет пером, Манон не сомневалась в своем превосходстве над Роланом, но любила притворяться робкой, несведущей женщиной, преклоняющейся перед исключительно талантливым мужем. В действительности она следила за всем, что происходило вокруг. Манон знала, что цена хлеба растет, а заработная плата на мануфактурных фабриках падает, вследствие чего рабочие ропщут. Но рабочие мало интересовали госпожу Ролан, она считала, подобно Ролану, что их нужно «подтянуть», но «подтянуть» ей хотелось также королеву, королевский двор, всех аристократов, потерявших меру в своих тратах и заносчивости.

«Откуда придет твердая власть, кто прекратит усиливающееся справедливое недовольство?» - думала госпожа Ролан. Она знала, что король, тучный обжора, ничего не понимает в делах государства и занимается серьезно только охотой да слесарным ремеслом в богато и удобно обставленной дворцовой мастерской слесаря Гамэна. Всемогущая королева рада, что муж, забавляясь выделкой ключей, не мешает ее забавам и мотовству. Вместе с королевой у власти распутная госпожа Полиньяк, пожираемая сифилисом принцесса Ламбаль, никчемные фаворитки, выродившиеся аристократы вроде Лозена, Эстергази и кардинала Рогана. Налоги и займы, падавшие наибольшей тяжестью на третье сословие, вызывают постоянные возмущения. Крупная буржуазия, быстро богатеющая, не хочет больше мириться с бесправием. Подмечая все эти симптомы, госпожа Ролан неоднократно приходила к мысли, что только просвещенные люди, подобные Ролану, значит и ей и тому обществу, в котором она вращалась, смогут принести Франции порядок и благоденствие. Впрочем, как это должно произойти, Манон не обдумывала, но удовлетворенно ловила слухи и рассказы о нараставшем недовольстве в Париже, надеясь, что оно обеспечит осуществление ее заветных, скрываемых мечтаний.

В Амьене у госпожи Ролан родилась дочка Евдора, но «обязанности матери», как и «обязанности жены», Манон определяла для себя, руководясь не чувством, а умом. Хозяйство, материнство, приемы, которые так любила устраивать госпожа Ролан, поглощали у нее большую часть времени; впрочем, вспоминая об этой поре, она добавляет, что успевала, конечно, заниматься ботаникой и естествознанием.

В 1789 году, к началу революции, Ролан был генеральным инспектором мануфактур и фабрик в Лионе. Госпожа Ролан, довольная служебным повышением мужа, чувствовала себя почти удовлетворенной, имея хорошо меблированную квартиру, слуг, отличного повара, как у всех «богатых людей». Однако революция всколыхнула Ролана и его деятельную супругу. Госпожа Ролан восстановила в памяти увлекательные подробности переворотов древнего Рима и Греции, перечла Плутарха, с энтузиазмом цитировала вновь Вольтера и Руссо, приказала прислуге называть себя «гражданкой». В обществе мало развитых, хоть и богатых, фабрикантов, купцов и их жен, в большинстве полуграмотных и невежественных женщин, госпожа Ролан смелостью своих речей вызвала сначала большое недоумение. Ролан также пытался излагать прежние теории, но перешагнул теперь через Англию к Америке, законы и свобода которой казались ему достойными примерами для Франции. Его туманные рассуждения в кругу лионской буржуазии, еще не осознавшей своих желаний и требований, породили ему в первое время немало врагов. Подмечая враждебность, окружавшую в Лионе либеральствующую чету, госпожа Ролан пишет об этом одному из своих друзей, парижскому врачу Лантенасу: «...Мы - изгнанники, против которых разгорелась невероятная ярость. Блот накануне своего отъезда на последнем заседании совета очень старался получить место, чтобы не сидеть рядом с господином де Платиер. Даже у его жены вырвалось словечко по моему адресу, будто муж ее испортил себе репутацию из-за своего общения с моим мужем. В первую минуту я задрожала от гнева, но скоро усмехнулась от жалости... Жалкие скоты, пугающиеся криков, которым становится страшно от угроз, для них мало спрятаться, им нужно еще отречься от единственного человека, достаточно смелого, чтобы выступить... Мы, однако, не откажемся от нашего метода, этот рев не доходит до меня, он вне моей сферы. Пусть покинут моего друга, он будет не один, я остаюсь с ним, а это чего-нибудь да стоит...»

Поведение госпожи Ролан действительно раздражало лионское буржуазное общество. Мужчины осуждали пафос и тон превосходства, усвоенный издавна Манон, женщины не прощали миловидной и очень заботящейся о своей внешности госпоже Ролан заносчивости «ученой умницы». Госпоже Ролан доставало такта, скромности и простоты даже тогда, когда она нарочно старалась казаться демократкой.

Уже в Лионе окружающие посмеивались над Роланом, узнавая в его речах мысли жены. Манон, впрочем, никогда сама не подчеркивала своего влияния на мужа. Спустя несколько лет она будет писать по этому поводу: «О боже мой, какую скверную службу сослужили мне те, которые приподняли покрывало, под которым я предпочитала оставаться. В продолжение двенадцати лет моей жизни я работала вместе с моим мужем так же, как и ела с ним, обе вещи казались мне одинаково естественными. Когда приводили какое-нибудь место из его работы, в котором находили больше стилистических прелестей, чем в других, когда хвалили какую-нибудь остроумную мысль, то я никогда не думала о том, что я их автор. Когда дело шло о том, чтобы высказать в министерстве крупную, резкую истину, я вкладывала в это всю свою душу; само собой разумеется, что у меня это выходило лучше, чем это удалось бы какому-нибудь кропотливому секретарю. Я любила свою страну, я поклонялась свободе, и никакие интересы, никакие страсти не могли во мне сравниться по силе с этой страстью: моя речь была ясна и патетична, так как это была речь от всего сердца. Важность предмета так захватывала меня, что я забывала о самой себе».

Передовые взгляды и главным образом служение деловым интересам лионских буржуа обеспечили инспектору мануфактур выбор в Учредительное собрание. Вскоре после возвращения Ролана из Парижа в Лион Учредительное собрание одним из декретов уничтожило должности генеральных инспекторов, и Ролан оказался без работы; впрочем, долголетняя служба давала ему право на приличную пенсию. Необходимость хлопотать о пенсии помогла Манон, не допускавшей мысли об уходе Ролана «на покой», настоять на поездке в Париж; ей удалось добыть мужу почетное поручение в Национальное собрание. Старый Ролан, трясаясь в дилижансе по пути в Париж, не раз вздыхал при воспоминании о тишине своего имения, где мог бы благодушно доживать старость. Не то думала Манон, и ее энергичный голос, прерывая дремоту утомленного мужа, возвращал его к действительности. Манон с воодушевлением поучала старика, давая ряд советов, и указаний. Лишь революция могла осуществить ее честолюбивые замыслы, дать выход накопленной ею энергии, стремлению к первенству, и Ролан, прислушиваясь к речам Манон, понимал, что она не простила бы ему обманутых надежд. Зимой 1791 года Роланы въехали в Париж и остановились в отеле «Британик». Немедля Манон приступает к осуществлению своих планов. Она твердо решает навсегда обосноваться в Париже, где

только и возможно, по ее мнению, принять участие в «большой политике», вмешаться в ход событий и передать свое имя истории. Манон присматривается к происходящему, с удовольствием отмечая, что восходящим светилом является жирондист Бриссо, с которым она состояла в давнишней переписке, хоть и не была лично знакома.

Одетая продуманно просто, гражданка Ролан отправляется на заседание Национального собрания, где просит представить ей Бриссо. Жена друга, знакомая по письмам, часть которых как образчик патриотизма Бриссо опубликовал в своей газете «Французский патриот», производит на наблюдательного и умного политика наилучшее впечатление. Бриссо принимает ее несмелые приглашения и, не раздумывая, обещает привести своих друзей.

Манон не стремится к славе «какой-нибудь сомнительной агитаторши из Пале-Рояля». Имена Теруань де Мерикур, Клер Лакомб, Олимпии Гуж, которыми гордится в те годы плебейский Париж, вызывают лишь презрение госпожи Ролан. Она свысока готова признать, что гражданка Теруань не лишена красноречия, и что Клер Лакомб с энтузиазмом борется за права женщин, и что Олимпия Гуж неплохая публицистка, но «прошлое» этих женщин все-таки остается в глазах Манон позорным; к тому же Олимпия незаконнорожденная, и парижане знают, что она по безграмотности принуждена диктовать свои зажигательные статьи секретарю. Манон Ролан не хотела идти путями трех «героинь предместий», их лавры ей не были нужны. Она не компрометирует себя связью с женскими клубами, которые становятся союзниками крайних левых. Неизменными образцами для гражданки Ролан могли быть, конечно, только знатные афинянки и римлянки, вокруг которых собирались философы, мудрецы, правители. Имея все достоинства прекрасной Аспазии - подруги и жены Перикла, - госпожа Ролан считала, что обладает в то же время свободолюбием и волей спартанки. Создание влиятельного салона, где собирались бы все наиболее могущественные революционеры, - вот что было задачей Манон. Прельщенный грацией и красноречием молодожавой жены Ролана, Бриссо решил помочь ей в этом. Салон к тому же был нужен будущим жирондистам: он облегчал им более тесный сговор, помогал сплотиться. Приняв приглашение Манон, Жан-Пьер Бриссо привел в убранную цветами, книгами, изящными безделушками квартиру Роланов самых значительных руководителей партии Жиронды: упитанного, самонадеянного Петиона, стесняющегося,

бледного Бюзо и говорливого Верньо, тонкого ценителя женской красоты и театра. Пришел и зачастил мало чем замечательный Боск, впоследствии один из наиболее верных друзей Манон, появились также Клавьер, Антуан.

У этих людей были трудолюбивые жены, равнодушные к политике, занятые детьми, хозяйством, домашними дразгами и заботами; мужья тяготились их умственной посредственностью, и возможность бывать в гостеприимном салоне госпожи Ролан, естественно, привлекала их. Хотя посещения относились будто бы только к самому Ролану, Манон отлично понимала, что стоит ей перестать появляться в маленькой приемной, и кое-кто из этих многоречивых политиков не придет уж больше в отель «Британик».

Долго и упорно Манон добивалась знакомства с якобинцем Робеспьером, в котором учуяла большого политического деятеля. Однако Робеспьер уклонялся от встреч, не чувствуя симпатии к Ролану и доверия к Бриссо. Робеспьер нелегко согласился прийти, но впоследствии бывал у Роланов. Его привлекала возможность быть в курсе последних событий.

Влияние жирондистов на судьбы Франции в конце 1791 и в начале 1792 года было значительным. Результаты выборов в законодательное собрание создали для них благоприятнейшую расстановку сил в собрании. Сторонники Бриссо - Ролана заняли первые посты в важнейших департаментах и муниципальных управлениях. Петиона, горячего приверженца госпожи Ролан, избрали мэром Парижа 14 ноября 1791 года вместо Лафайета, слава которого поблекла. Даже в якобинском клубе жирондисты чувствовали себя хозяевами.

Осень 1791 года Манон проводит в своем имении, откуда посылает Максимилиану Робеспьеру полное лести письмо, в котором есть такие строки: «В недрах столицы, очага стольких страстей, где ваш патриотизм вступил на столь же затруднительный, сколь почетный путь, вы, милостивый государь, не без интереса получите из глубочайшего одиночества написанное свободной рукой послание, продиктованное чувством уважения и удовольствия, которое испытывают люди чести при обмене мнений между собой. И если бы даже я познакомилась с ходом революции и с шагами законодательного учреждения только из газет, то я все же выделила бы маленькое число смелых мужей, постоянно остававшихся верными принципам, и из числа этих мужей - вас, чья энергия никогда не переставала оказывать величайшее сопротивление

взглядам, козням деспотизма и интриге. В моем уединении я с радостью буду знакомиться с продолжением ваших успехов; итак, я призываю вас к работе ради справедливости, так как обнародование истины, касающейся общественного блага, - всегда успех в добром деле. Если бы я предполагала только сообщить вам что-либо, то у меня не появилась бы мысль вам написать, но, не сообщив вам ничего особенного, я думала о том интересе, с которым вы услышите о двух людях, душа которых создана, чтобы понять вас, и которые желают выразить вам уважение, оказываемое ими лишь немногим людям, и привязанность, посвящаемую ими только тем, кто ставит выше всего славу быть справедливым, быть чутким».

Возвратившись в Париж, Манон застала своих друзей в безмятежном предвкушении власти, даже осторожный Бриссо считал, что политическая игра им выиграна. Под влиянием этого госпожа Ролан восторженно шла навстречу будущему. Скоро, думалось ей, не только набережная Часов, но и весь Париж заговорит о жене Ролана и друге великих деятелей революции.

Участившиеся в эту пору «приемы» в отеле «Британии» госпожа Ролан подробно списала сама: «Я жила в роскошном помещении, в хорошем квартале. Создалось такое обыкновение, что депутаты, собиравшиеся для совместного обсуждения различных вопросов, являлись ко мне два раза в неделю после заседания в Собрании и перед заседанием в клубе якобинцев. Я работала или писала, в то время как они рассуждали. Я предпочитала писать, потому что тогда казалось, что я совсем далека от их разговора, и в то же время я могла прекрасно вслушиваться в него. Я могу делать одновременно несколько дел и так привыкла писать письма, что это не мешало мне слушать разговор о чем-нибудь, совершенно отличном от содержания моего письма. Мне кажется, что во мне две личности. Я могу разделить свое внимание, как материальный предмет, пополам и управлять обеими половинами, как будто я отдельное от них существо. Я помню, как однажды, когда эти господа оказались о чем-то различного мнения и спор их сделался очень шумным, Клавьер, заметив, с какой быстротой я пишу, довольно остроумно заметил, что только женщина способна на это и что все же ему это кажется удивительным. «Что же бы вы сказали, - улыбаясь, спросила я его, - если бы я слово в слово повторила вам те доводы, которые вы только что приводили?» Кроме обычных приветствий при появлении и перед уходом этих господ, я никогда не позволяла себе произносить ни одного слова, хотя часто мне приходилось сжимать

губы, чтобы удержаться. Если кто-нибудь заговаривал со мною, то это бывало уже тогда, когда начинали расходиться и все вопросы были уже решены. Кроме графина с додслащенной водой, никаких напитков у меня не подавалось. Поведение Робеспьера на этих происходивших у меня собраниях было замечательным; он мало говорил, часто посмеивался, бросал несколько саркастических фраз, никогда не высказывал своего мнения».

Самым счастливым, таким долгожданным днем в жизни Манон было 21 марта 1792 года. Под вечер прозвучал резкий звонок у входной двери, и перед Роланом и его женой появились Дюмуре и Бриссо. «Вы назначены министром», - скороговоркой пробормотал Дюмуре. Бриссо, ожидая выражения благодарности, теребил, улыбаясь, широкополую шляпу, Ролан хотя и знал об этом назначении и дал уже свое согласие, однако беспомощно и вопросительно посмотрел на жену, которая заметно напрягала волю, чтоб сдержать восторженный возглас. Хитрый Дюмуре, подкупленный двором, лицемер и предатель, показался Манон в эту минуту лучшим другом: ведь он был вестником удачи. Впрочем, Не только Манон, но и Бриссо и вся жирондистская пресса перевозносили тогда Дюмуре, назначенного министром короля за несколько дней до Ролана, Клавьера и Дюрантона.

Радость Манон была приговором Ролану: об отказе от назначения (о чем он втихомолку мечтал) нечего было и думать.

Вот что пишет госпожа Ролан в мемуарах об этом событии: «Когда Ролан в первый раз явился ко двору в своем обычном одеянии, которое он давно носил из удобства, со своими редкими, просто зачесанными волосами, в круглой шляпе и башмаках, завязанных лентами, придворные лакеи, придававшие главное значение этикету, - в нем заключался весь смысл их существования, - смотрели на него с возмущением, даже с некоторого рода ужасом. Один из них приблизился к Дюмуре и, наморщив лоб, шепнул ему на ухо, указывая на предмет своего смущения: «Ваша милость: без пряжек на башмаках». Дюмуре с комической серьезностью воскликнул: «Ваша милость, все погибло». Эти слова сейчас стали известны и заставили смеяться тех, кто менее всего был расположен к этому. Сам Людовик XVI, несмотря на несоответствующую этикету внешность, принял своего нового министра весьма радушно».

Вскоре Манон занялась переездом в редкий по богатству и пышности дворец министерства внутренних дел, где полагалось

жить министру. Подгоняемая тщеславием, поднималась Манон по мраморным ступеням лестниц, проходила по пустым, слишком большим и глухим залам, запрокидывая голову, разглядывала фрески и лепных амуров на потолках и стенах, трогала и гладила холодные колонны, любовалась собой в зеркалах, прижатых золотыми рамами, и слушала звон хрустальной бахромы венецианских люстр, которые вечерами, при свете свечей, казались разноцветными. В своих мемуарах госпожа Ролан не будет описывать ни прекрасного дворца, ни того удовлетворения, которое она, несмотря на свои «демократические вкусы», испытала, поселившись в нем. У нее хватило такта, чтобы не казаться смешной, тем более что набережная Часов была недалеко, да и роль знатной дамы сулила только преследования и издевательства. Манон Ролан и во дворце стремилась остаться все той же «благородной супругой добродетельного Ролана».

«Французский патриот» пером Бриссо после бегства короля в июне 1791 года из Парижа громогласно потребовал республики, и Манон, читавшая газету Бриссо ежедневно, спешит в своем салоне провозгласить патетический тост за друзей-республиканцев. Под ее влиянием Ролан соглашается издавать совместно с Кондорсе газету «Республиканец, или защитник представительного правления», в которой агитирует за провозглашение республики. В предсмертных мемуарах Манон, чванясь своим республиканизмом, обвинит Робеспьера в том, что он не хотел низвержения монархии и после бегства короля в Варенн спросил насмешливо Петиона и Бриссо: «А что такое - республика?» Манон Ролан умалчивает о догадках, возникших тогда же у Бриссо о том, что Робеспьер высказывается против республики «только из-за тайного расчета». В 1791 году утверждение власти крупной буржуазии, представителями которой были жирондисты, внушало серьезные опасения Робеспьеру, боявшемуся, чтобы республика, созданная ими, не обеспечила бы Жиронде слишком большого господства в стране. Департаменты получили бы тогда самостоятельность, Париж потерял бы свое решающее значение для федеративной Франции, и сенат - старая мечта американофила Бриссо - стал бы оплотом борьбы с подлинными демократами и крайними революционерами. Время для провозглашения республики, как думал Робеспьер, еще не настало. Он не ошибался, разглядев сквозь завесу фраз и демогии истинные стремления жирондистов. Очень скоро бриссотинцы открыли карты; поняв, что республика сможет оказаться полезной

не только для крупной торговой и промышленной буржуазии, они умерили настойчивые домогательства свержения короля.

Два раза в неделю за обеденным столом министра Ролана появляются приглашенные. Только иногда Манон допускает и женщин; тогда это - госпожа Петион, отвечающая невпадет, и тучная госпожа Бриссо, деятельная мать многочисленных детей. Именно госпожа Петион и госпожа Бриссо обостренным женским нюхом учуяли первые, что особой симпатией Манон дарит видного жирондистского депутата Бюзо. Нервный, подвижный, сентиментальный, демагог по натуре, он привлекал ее полной противоположностью Ролану. Вот характерные отрывки из автобиографии Бюзо, где он пытается обосновать свое мировоззрение:

«От природы одаренный независимым характером и мужеством, не позволявшими подчиняться чьему бы то ни было приказу, как мог я примириться с мыслью о наследственном короле и непогрешимом человеке? Мой ум и сердце были полны историей Греции, Рима и тех знаменитых людей, которые в этих древних республиках более всего любили человеческий род; я с раннего детства проникся их принципами, Я был поглощен изучением их добродетелей». «...Никогда распутство не запятнало моей души своим нечистым дыханием, кутежи всегда внушали мне отвращение, и вплоть до моего нынешнего зрелого возраста бесстыдная речь никогда не загрязняла моих губ». «С таким характером и такими склонностями я сделался участником революции и Учредительного собрания».

«Я пользовался всеобщим признанием и почетом, но скоро я узнал, что не все в своей деятельности отрешаются от соображений личного интереса. Я снова замкнулся в себе и только к концу опять выступил; я сделал это тогда, когда заметил, что число истинных патриотов необычайно уменьшилось и, может быть, уменьшится еще, если я буду долее хранить молчание. Я был горячим противником королевской власти, особенно после бегства короля. Когда заседания Учредительного собрания пришли к концу, я вернулся в Эврэ, где делал все, что было в моих силах». Так Бюзо пытался изображать из себя подлинного патриота и республиканца. Фактически это был честолюбивый славолюбец и фразер.

Запоздалая первая любовь, любовь к Бюзо, ворвалась в размеренную жизнь Роланов, неся всем огорчение и муку. Надуманно усложненные принципы Манон и большие требования,

которые она предъявляла к себе, не позволяли ей согласиться на измену мужу. «Сестра Гракхов», жена «героя» не могла идти по стопам тех, кого так язвительно сама высмеивала. Наставлять рога мужу было достойно женщин старой знати, какой-нибудь Марии-Антуанетты и ее фавориток, но уж никак не «королевы Жиронды», - так всё чаще называли жену Ролана.

Тщательно проследив и проанализировав свои чувства, Манон посвятила во все добреющего с годами Ролана, который покорно изображал государственного мужа, не имея других желаний, кроме желаний жены. Признания Манон потрясли доселе уверенного в жене супруга. Бюзо был молод, любил и был любим. Легко доступный развод не мог стать препятствием для сближения. Но Манон не признавала для себя «легкого пути», она осталась с Роланом, обещая, что любовь к Бюзо будет «чистой». Госпожа Ролан продолжает встречи и переписку с «возлюбленным Бюзо», благодаря которому может зорко следить за политической игрой жирондистов и влиять на решения Конвента. Ленивый Бюзо, уступая непреклонной воле Манон, участвует в работе Конвента, вербуя сторонников бриссотинцам, и истерическая вспыльчивость его превращается в полезное орудие политической борьбы. Бюзо предан и послушен Маноя, как Ролан, и она платит ему за это рассудочной любовью и ловкими похвалами в своем салоне. Госпоже Ролан принадлежат нижеследующие строки о Бюзо:

«Природа наделила его любвеобильной душой. Его чувствительность заставляла его предпочитать тихую, уединенную, добродетельную жизнь; сюда присоединялась склонность к меланхолии как результат сердечных огорчений. Обстоятельства ввергли его в поток политической жизни».

Вмешательство Манон в дела мужа и Бюзо и ее часто вредное влияние не могли укрыться от парижан. Пока партийная борьба не обострилась, это вызывало только насмешки, но когда внутренние распри усилились, имя Манон все чаще стало произноситься вперемежку с руганью, как имена аристократок старого режима. Слишком часто на государственные дела Франции опасно влияли женщины; жестокая любовница Людовика XV Помпадур, мотовка Дюбарри, «австриячка» - королева и ее подруги были еще чересчур болезненно памятны народу.

Манон, нигде не отстаивающая открыто своих взглядов, почти незримая, но плетущая пропитанное ядом кружево закулисных

интриг, становилась врагом революционных предместий, ненавистным даже больше, нежели старик Ролан.

Великолепная речь Робеспьера в Конvente сдернула покровы, прикрывавшие сложную политическую затею жирондистов, стремившихся войной укрепить свою мощь, отвлечь бедняцкие слои от крайних революционеров, сократить вербовкой в армию безработицу, расширить торгово-политическое влияние Франции. Робеспьер говорил:

«Я тоже требую войны, однако под условием, относительно которого мы несомненно все согласны, ибо я не хочу думать, что сторонники войны намерены нас обмануть. Итак, я требую войны не на живот, а на смерть, героической войны, такой войны, какую свобода объявляет деспотизму, такой войны, которую умеет вести сам революционный народ во главе с собственными вождями, а не такой войны, какой хотят интриганы...

Но где же у нас генерал, непоколебимый защитник народных прав, прирожденный враг тиранов, который никогда не вдыхал бы отравленного придворного воздуха?.. Или мы, готовясь ниспровергать троны, должны выжидать, когда-то прикажет нам военное министерство, должны ждать, когда-то двор подаст нам знак? Патриции, эти вечные любимцы деспотизма, должны вести нас на войну, которая направлена против аристократов и королей? Нет! Мы хотим одни вступить в борьбу, мы хотим сами повести себя. Сторонники войны с этим, однако, не согласны. Вот господин Бриссо, - он заявляет, что всем делом должен руководить господин граф де Нарбонн, что только под командой господина маркиза де Лафайета можно предпринять поход и что единственно исполнительной власти принадлежит право вести нацию к победе и свободе...

Тот способ, каким господин Бриссо и его друзья проповедуют нам доверие к исполнительной власти, то, как они стараются об общественном благорасположении к генералам, доказывает только одно: революция отняла у них уверенность, бдительность и энергию».

Война с Австрией была объявлена правительством 20 апреля 1792 года: французский народ решительно выступил на защиту своих демократических завоеваний. Вся тяжесть военных лишений легла на плечи трудящихся. Росла дороговизна, все сильнее сказывалась нехватка продуктов, росло недовольство беднейших слоев населения, до предела обострялась борьба классов.

Назревали решительные события. И вот в ночь с 9 на 10 августа над Парижем загудели колокола. В ответ на колокольный звон в районных секциях стал собираться народ. Вооруженные отряды двинулись к Тюильри. Комиссары секции провозгласили себя «Революционной коммуной» и возглавили движение масс. У дворца короля завязался бой между восставшим народом и отрядом наемных швейцарцев. Революционная коммуна возглавила восстание и привела его к победе. Члены коммуны в Законодательном собрании от имени победившего народа продиктовали свою волю - Людовик XVI лишался трона. Коммуна своей властью арестовала его и заключила в замок Тампль. Старые министры короля были уволены, и собрание назначило новое министерство (Временный исполнительный совет).

В своем большинстве совет состоял из жирондистов. Туда входят Ролан, Монж, Клавьер, Серван, Лебрен, из монтаньяров в его состав был введен лишь один Дантон. Второй прыжок к власти уже не принес Манон былой радости: Ролан является мишенью нападков слева. Она плачет от бессилия, услышав слова Дантона о Ролане: «Франции нужны министры, которые не смотрели бы на все глазами своей жены» - глазами Манон. Ничто не могло бы оскорбить ее больше. Много ли у Франции таких восторженных, наблюдательных, таких умных глаз! Конечно, эти заносчивые господа не в состоянии ее понять! Манон утешается размышлениями о ничтожестве окружающих: «Ограниченность, - не раз восклицает она презрительно, - превосходит все, что можно себе представить. И это на всех ступенях общества, начиная с приказчика и кончая министром, военным, которому приходится командовать армиями, посланником, созданным для роли торговца». Только трое: муж, возлюбленный Бюзо и Бриссо, мысли которого повторяет, считая своими, Манон, только трое пользуются ее уважением. Но эти трое не в силах оградить Манон от насмешек, от презрительных выпадов, и госпожа Ролан, сжигаемая жаждой мести и власти, решает действовать. Она больше не хочет, считает даже преступным молчать, занимаясь «женскими делами» за своим столиком во время мужского спора; она решительно вмешивается отныне в разговоры, разжигает партийные страсти, требует от друзей действенной энергии, следит за каждым шагом Конвента, внушает и репетирует с Бюзо его речи, дает формулировки Бриссо для «Французского патриота». Госпожа Ролан борется как может за влияние и мощь Жиронды. Монархисты ей пока чужды.

В сентябре 1792 года Париж был потрясен известием о сдаче Вердена. Коммуна приступила к набору армии. Снова загудел набат, выбивали дробь барабаны. Революционная коммуна призывала: «К оружию! Враг у порога!»

В то же время по Парижу поползли слухи о заговоре контрреволюционеров, заключенных в тюрьмах, об ударе, который они нанесут, когда парижане уйдут на фронт. В порыве негодования народ и добровольцы бросились к парижским тюрьмам и казнили контрреволюционеров.

Позднее жирондисты сочинили легенду о «сентябрьских убийствах», обвиняя в них якобинцев и многократно преувеличивая число казненных, но в сентябрьские дни не только якобинцы, но и жирондисты не могли обвинять народ: стихийная месть народа была проявлением самозащиты революции против подготовлявшегося мятежа контрреволюционеров.

Тогдашняя жирондистская пресса вполне отражает настроения госпожи Ролан, а эта пресса нисколько не возмущается кровавыми событиями в тюрьме, где пострадали аристократы и духовенство - союзники наступающих армий монархической коалиции.

3 сентября, когда в монастыре Сен-Жермен де Пре, то охая, то ругаясь, тюремщики смывают кровь с пола и подбирают последние трупы, чтобы угрюмо бросить их на дроги, Манон в последний раз осмотрит в большом трюмо свой туалет. Она заколет с умелой небрежностью косынку поверх светлого платья, разовьет локон над ухом, поправит фижму, слегка набелит подбородок и лоб, оттеняя легкий слой румян. Ей уже 38 лет, но годы не портят ни лица, ни чуть полной, гибкой фигуры. Осмотрев себя со всех сторон, чуть напевая, госпожа Ролан зайдет к своей дочери Евдоре, погладит ее по волосам, не нагибаясь, чтобы не испортить линию корсажа, скажет несколько поучительных слов смущенной гувернантке, быстро пройдет, вдыхая запах духов, в большую столовую, где скромно, но красиво убран стол. В этот день Роланы дают большой обед. Поздно вечером, когда гости разойдутся, Манон, долго раздеваясь, будет с удовольствием вспоминать «удавшийся» прием, оживленные разговоры, шутки, смех, каких не было уже так давно в эту все более тревожную пору. О народной расправе с аристократами, происшедшей накануне, Манон, быть может, вспомнит мельком, повторяя слова своих друзей, что пролилась кровь «негодяев».

Ненависть к королю, которую так любила подчеркивать госпожа Ролан, ко времени суда над ним значительно ослабевает, и смерть Людовика XVI даже огорчит «неистовую республиканку». Один из ее друзей, контрреволюционер Лафатер, из укрывшей его Швейцарии в начале 1793 года прислал Манон письмо, вполне совпадающее с ее настроениями.

«Только что получил ваше письмо, моя добрая Ролан, ваш портрет и много печатных произведений, которое я буду читать при первой возможности. Спешу сообщить вам, что все люди чести восхищаются вашим славным мужем и гнушаются интригами и коварством против него. Душа моя несказанно уязвлена смертью короля. Я не осмеливаюсь и не могу выразить мою горечь и мои опасения. О мой добрый друг, свобода, которую вы хотите обрести путем самого холодного и самого вычурного деспотизма, ускользает от вас, и стократное несчастье падает на головы тех, которые так злоупотребляют как предрассудками, так и несдержанностью народа. Придите к нам, если Франция, которая недостойна вас, вас отвергает».

В это время нападки прогрессивной прессы на жирондистов усилились. Газета «Отец Дюшен» не щадила при этом и чету Роланов. «Несколько дней тому назад, - возвещала в одной из своих статей газета, - депутация... из полдюжины санкюлотов явилась к этой старой развалине (рогоносцу Ролану); к несчастью, они попали туда во время обеда. «Чего вы хотите?» - спросил у них швейцар, остановив их в дверях. «Мы желаем поговорить с добродетельным Роланом». - «Здесь совсем нет добродетельных», - отвечал толстый страж, очень упитанный, хорошо выбритый, протягивая руку за взяткой.

Наши санкюлоты прошли по коридору и вошли в прихожую добродетельного Ролана. Они никак не могли протолкаться сквозь толпу слуг, наполнявших ее.

Двадцать поваров, нагруженных самыми изысканными фрикасе, кричали во все горло: «Пропустите, пропустите, дайте дорогу: это соуса добродетельного Ролана»; другие кричали: «Дорогу жарким добродетельного Ролана»; еще другие: «Пропустите закуски добродетельного Ролана»; другие еще: «Вот пирожные добродетельного Ролана». «Чего вам надо?» - спросил у депутации лакей добродетельного Ролана. - «Мы хотим поговорить с добродетельным Роланом».

Лакей идет сообщить эту новость добродетельному Ролану, который появляется нахмуренный, с полным ртом и салфеткой в руках. «Наверное республика в опасности, - говорит он, - что вы побеспокоили меня во время обеда». Ролан провел гостей в свой кабинет: он помещался рядом со столовой, где находилось более тридцати блюдолизов.

На почетном месте, справа от добродетельного Ролана, сидел Бассатие, а слева маленький Луве, со своей картинной физиономией и впалыми глазами, с вожделием смотрел на супругу добродетельного Ролана. Один из членов депутации хотел пройти по темной лакейской и уронил десерт добродетельного Ролана. Узнав о гибели десерта, жена добродетельного Ролана в гневе сорвала с головы свои фальшивые волосы».

Как относилась Манон к доносившимся до нее злобным отзывам парижского «простонародья»? Верная служанка Роланов не раз плакала, возвращаясь с базара, где торговки насмехались над ее господами. Но Манон, выслушивая пересказы, только поджимала сухие, недобрые губы, охваченная презрением к невежественной «черни», не заслуживающей «свободы». Особенно изумляла госпожу Ролан нечувствительность народа, осуждавшего ее «вечера», на которых хозяйка салона, отрывая розы от атласного корсажа, бросала лепестки в бокалы гостей жестом, достойным римской патрицианки.

В том же смутном 1793 году Ролан ушел в отставку. Борьба в Конвенте между Жирондой и якобинцами неудержимо разгоралась; заседания Конвента становились бурными. Все, в чем были виновны бриссотинцы с давних пор перед французской революцией, с особой ожесточенностью им припоминалось. Трусость во время расстрела на Марсовом поле, двусмысленные переговоры со двором и участие в интригах короля, предательство генералов, ставленников Жиронды, колебания во время процесса Людовика - все это выставлялось как пункты обвинительного акта. Жирондисты не оставались в долгу, изрыгая убийственную клевету на Гору, ведя остервенелую агитацию в газетах и клубах. Они не только оборонялись, они активно нападали.

Непопулярность жирондистов проявлялась в Париже на каждом шагу: в секциях, на окраинах, в Конвенте. Тщетно педантичный Ролан в течение четырех месяцев восемь раз обращался с требованием рассмотрения его отчета - ему не давали слова.

Манон, оставившая пленительный министерский дворец, опять очутилась в скромной квартирке, напоминавшей ей отель

«Британик», но как непохоже было теперь все вокруг на безмятежное недавнее прошлое. Госпожа Ролан не обманывала себя и, видя, насколько далеко зашли разногласия, понимала, какой грозный и решающий бой ждет ее партию. Ее малолюдным теперь салон превращается в руководящий штаб жирондистов. Лишь когда отчетливо обрисовались контуры грядущего поражения и надвинулся разгром, госпожа Ролан принялась за организацию отступления и ухода в подполье. Неумоимо она хлопочет об убежище на случай надобности для друзей и о разрешении на выезд в свое имение для мужа и дочери. Неожиданная болезнь - несчастливая помеха - обрывает ее приготовления.

В Конвенте весной 1793 года партийная борьба была уже накануне развязки. Отклонение жирондистами прогрессивного подоходного налога вызывает волнение и ярость против них в рядах мелкой буржуазии и рабочих, но, не считаясь с волей масс, жирондисты продолжают выступать также и против «максимума» - предельной цены на хлеб, которой добивается голодный парижский люд во главе с Горой. Бедняк - творец революции, участник кровавых восстаний, отдавший детей на войну с Австрией и Пруссией, не ощутивший все еще облегчения от им созданного политического строя, - обрекался жирондистами, защищавшими свободу торговли, на голод. Это превосходило терпение народа: слово «бриссотинец» звучало как «предатель».

Но, невзирая на ропот народа и растущую свою непопулярность, жирондисты 2 мая 1793 года опять пробуют выступать, надеясь на поддержку провинций, против большинства Конвента, утвердившего принудительный заем для борьбы с контрреволюцией в Вандее. Они возражают против выдачи пособий семьям солдат и образования запасов муки. Распределялся заем среди парижан, имевших доход более 1000 ливров, что наиболее раздражало жирондистов и объявлялось ими актом «несправедливости» по отношению к зажиточному населению. Эта последняя «ошибка», то есть верность классу, которому служили жирондисты, была ближайшей причиной их низложения.

Накануне разгрома Манон заболела. Ее посещали немногие, в числе которых Бюзо, все более близкий и любимый. Несмотря на волнения и гнетущие предчувствия надвигающейся катастрофы, Манон охвачена неудержимым любовным порывом к тому, кто мог бы стать ее любовником. «Было бы приятно, - пишет Манон, отвлекаясь от суровой действительности, - если бы такое

расположение совпало с долгом: не дать погибнуть бесполезно тому, что еще осталось. С каждым днем становится труднее владеть своим сердцем и употреблять атлетические усилия для того, чтобы защитить свой зрелый возраст от бури страстей». Она напрасно боялась за слабоволие и податливость своих тридцати восьми лет. Эпоха, в которую она жила, ворвалась в ее жизнь и определила ее будущее. 31 мая ушли с исторической сцены жирондисты и с ними их «королева».

В день восстания парижского народа против бриссотинцев Манон, впервые после долгого времени, проснулась утром, чувствуя себя выздоровевшей. Главной заботой ее было устроить отъезд семьи в глушь, казавшуюся, по контрасту с бурным Парижем, обетованным уголком, сулящим покой и счастье. Но едва Манон оделась, допила кофе, привела в порядок бумаги и безделушки в спальне и в гостиной, как прислуга вбежала, чтобы предупредить госпожу об уличных толках и откровенных угрозах, раздававшихся с особой настойчивостью по адресу «рогоносца Ролана» и бриссотинцев.

Дальнейшее надвинулось с неотвратимой быстротой. Где-то вдали раздался набат, потом прогудели сигнальные пушки. Точно так начинались все великие «праздники» революции, в которых раньше участвовала с энтузиазмом и Манон. Подобрав юбку обеими руками, как для менуэта, Манон бросилась к окну, зная наперед, что увидит сейчас, как по узким улицам пестрой лентой пронесутся мгновенно вылезшие из домов, лавок, подворотен люди. Торговки, фруктошницы, подняв руки, будут потрясать корзинами, бессвязно выкрикивая ругательства; мужчины, женщины, дети, опрокидывая сорные ящики, скамейки, встречных, побегут в свои секции, в Парижскую коммуну, к Конвенту, сжимая кулаки, заражаясь друг от друга жаждой мести, готовые немедленно к бою с врагом. Вся дрожь, Манон ловила угрожающие восклицания толпы, все еще гоня от себя страшное предположение. Уловив имена своих друзей, она, ослабев, ушла от окна, теряя последние обнадеживавшие сомнения. Народ требовал жирондистов к ответу. Когда улица приутихла, кое-кто из друзей пришел к Манон сообщить невеселые новости.

В пятом часу следующего дня в квартиру Манон, стуча саблями и ружьями, пришел патруль с ордером Революционного комитета на арест Ролана. Прочитав приказ, Ролан заявил, что ордер не исходит от законной власти, и отказался идти в тюрьму. Не имея разрешения применять насилие, вооруженные санкюлоты отправились в

общинный совет за дальнейшими указаниями. Едва затихли шаги, Манон, рассчитывая на уцелевшие еще связи, решает отправиться в Конвент, надеясь спасти Ролана от ареста. Дворец Тюильри полон вооруженных людей. В узкий коридор из зала заседания Конвента доносится до Манон, точно грозный рокот морского прилива, гул голосов. Хитростью и ложью Манон добивается вызова Верньо, но этот еще недавно уверенный в себе, неотразимый оратор Жиронды не берется огласить в Конvente письмо об аресте Ролана, ссылаясь на то, что его не станут слушать. Не видя спасения, Манон бросается домой, чтобы помочь мужу бежать.

Поздно вечером, когда депутация общинного совета вновь пришла арестовать Ролана, он был уже вне дома; на этот раз арестовали Манон. С полночи до семи часов утра тянулась томительная процедура обыска и опечатывания вещей. Попрошавшись с дочерью и слугами, Манон вышла под конвоем из дома. У подъезда до извозчицкой кареты шпалерами вытянулись вооруженные секционеры. Несколько женщин, узнавших Манон, проводили карету криками: «На гильотину!»

В тюрьме Аббатства, куда привозят Манон, вежливый тюремщик предлагает ей ввиду отсутствия свободных мест провести день в одной из комнат его квартиры. Жена его, расторопная и чувствительная женщина, спрашивает арестованную, какой завтрак она желала бы получить. Государство отпускает узникам только порцию бобов и 200 граммов хлеба в день, но оставляет им возможность питаться на свой счет, отчего еда арестованных вполне соответствует их достатку и привычкам. В первый день пребывания в тюрьме утомленная и обеспокоенная Манон просит только «воды с сиропом».

К ночи тюремщик перевел госпожу Ролан в маленькую камеру, под оконцем которой находились часовые, до рассвета нарушавшие сон Манон традиционными «кто идет?», «стреляй, патруль!» Эти крики учащались, и караулы усиливались в напряженно тревожные ночи.

Сумрак и холод тюрьмы угнетают Манон, и, желая сохранить бодрость духа, она пытается сделать камеру похожей на жилую комнату. Большие яркие букеты цветов должны скрасить хмурые, холодные стены, на столе, прикрытом старенькой скатертью, на табуретке, на подоконнике Манон раскладывает книги, безделушки и туалетные принадлежности. Благодаря тюремщику и его жене Манон часто видится с друзьями, оставшимися на свободе, и

переписывается с родными. Наибольшее участие проявляет верный друг Боск, устроивший в преданной Роланам семье их дочь Евдору. Из газет Маьон узнала об аресте двадцати двух жирондистов. В безграничном отчаянии она вскричала: «Отечество мое погибло». Только уверенность в том, что Ролан, Бюзо и другие жирондисты, бежав из Парижа, находятся вне опасности, придавала ей твердость. О себе Манон вначале не беспокоилась и старалась держаться с вызывающим «спокойствием невинности».

Уверенная в скором освобождении, госпожа Ролан требует от министра юстиции «применения к ней закона», и в ответ 12 июня ее, наконец, допросил полицейский комиссар. Он рассеянно выслушал возмущенные доводы и многословные возражения Манон, не объясняя причины ареста. Во время следующего допроса грубоватый комиссар, которому надоела болтовня этой женщины, потребовал, чтобы она отвечала только «да» или «нет». Ей было заявлено, что тюрьма не министерская квартира, чтобы щеголять «умом». Допрос, продолжавшийся несколько часов, протекал в столь резком тоне, что Манон внезапно поняла, какое наказание ей угрожает. Уходя с допроса, она гневно сказала: «Как мне вас жалко. Я прощаю вам даже вашу грубость. Вы можете послать меня на эшафот, но не можете лишить меня той радости, которую доставляют чистая совесть и убеждение, что потомство отомстит за Ролана и меня, обвинив наших преследователей в подлости».

В той же тюрьме Аббатства Манон Ролан начала писать мемуары, составившие впоследствии четыре тома и изданные тотчас же после падения Робеспьера ее уцелевшими друзьями. В своих записках она старается охарактеризовать деятелей революции, посещавших ее салон, и события минувших лет. Беспристрастность не могла быть доступна узнице, недавно еще бывшей, по ее же выражению, на «троне». Озлобленная гонениями, она ехидно осуждает якобинцев и восхваляет своих единомышленников.

Спустя четыре недели после ареста, 27 июня, Манон была выпущена на свободу, но двумя днями позже снова арестована и посажена в тюрьму Сен-Пелажи. В тюрьме Сен-Пелажи госпожа Ролан живет почти так же, как и в тюрьме Аббатства. Кроме мемуаров и обширной переписки с Бюзо и друзьями, она занята рисованием и чтением; как и прежде, «Герои» Плутарха постоянно лежат на ее столике. Наибольшим огорчением жены «добродетельного Ролана» в Сен-Пелажи было соседство проституток, воровок, фальшивомонетчиц. По утрам, когда

тюремные камеры открывались и страж выпускал визжащих, цинично ругающихся женщин в общий коридор, куда выходили также арестованные мужчины, Манон пряталась в своей камере, оскорбленная «таким обществом» и непристойными словами, которые раздавались вокруг нее. Она не раз обдумывает возможность самоубийства, но оставляет эту мысль, не желая дать «клеветникам мужа новое оружие в руки». В дневнике Манон пишет: «Я возвеличу его славу, если только решатся призвать меня в Революционный трибунал». Постепенно «презренные» соседки перестают так болезненно раздражать Манон. Она находит даже некоторое удовольствие в том, чтобы вести с ними поучительные беседы, вызывающие их недоумение и невольное уважение к «ученой гражданке».

Преданные друзья - Боск, Гранпре, Шампанье - по-прежнему приносили в тюрьму цветы из ботанического сада, письма и газеты. Добрая жена тюремщика, с которой умела ладить Манон, как раньше в тюрьме Аббатства, на день часто приглашала ее в свою светлую квартирку, где на стареньком клавесине узнице разрешалось наигрывать несложные мелодии, выученные в монастыре.

В день казни Бриссо - наиболее жуткий день в жизни госпожи Ролан, когда и для нее умерла надежда, - Манон перевели в тюрьму Консьержери, имевшую страшную славу «прихожей смерти». В Консьержери ее камера была зловонна и темна, как могила. Смерть надвигалась, и Манон всюду чувствовала ее мучительное соседство. Незачем было больше сдерживать обильные слезы горечи и боязни. Тюремщик, свидетель предсмертной дрожи и отчаяния Манон, равнодушно задвигал ежевечерне засов одиночной камеры, в которой по целым дням плакала ослабевшая женщина.

Вызов в Революционный трибунал приближался, допросы участились. Госпоже Ролан предъявили обвинение в сношениях с бежавшими депутатами-жирондистами, объявленными вне закона. Напрягая остаток воли, она старалась казаться сильной. От печали и физического страха перед небытием Манон отрывали только заботы об умелой и красивой защите на суде. Превыше всего эта женщина до последней секунды жизни ценила точеную фразу и выразительную позу. Вот отрывки из речи, которую она подготавливала в ожидании суда:

«Предъявленное мне обвинение основывается исключительно на мнимом соучастии в деяниях тех людей, которых называют

заговорщиками. Мои дружеские отношения с немногими из них не имеют ничего общего с теми политическими событиями, благодаря которым они теперь считаются достойными наказания.

Я не сужу о средствах, к которым прибегали осужденные, я не знаю этих средств, но я ни за что не поверю в злые намерения тех, чью честность и гражданскую доблесть, чью великодушную преданность отечеству я воочию видела. Если они заблуждались, они это делали с искренней верой, они побеждены, но не унижены, они в моих глазах несчастны, но не виноваты. Если я, сохраняя к своим друзьям добрые чувства, виновна, то я объявляю себя таковой перед всем миром. Я не беспокоюсь за их славу и охотно соглашусь разделить с ними честь быть угнетенной их врагами, Я видела этих людей, которых обвиняют в заговоре против отечества. Это были решительные, но гуманные республиканцы, которые были убеждены в том, что нужны хорошие законы для того, чтобы республика ценилась теми, кто сомневается в ее жизнеспособности, а это, право, труднее, чем казнить их. История всех времен доказала, что требуется большой талант для того, чтоб хорошими законами направить людей на путь добродетели... Я слышала, как они утверждали, что достаток и счастье могут происходить только из справедливой, благотворной и охраняющей граждан государственной конституции, что могущество штыка может только внушить страх, но не может доставить хлеба. Я видела их одухотворенными горячей заботой о благе народа, они гнушались льстить народу и были готовы скорее пасть жертвами его заблуждения, чем обманывать его. Сознаюсь, что эти принципы и это поведение казались мне совершенно непохожими на принципы и поведение тиранов и честолюбцев, которые стараются нравиться народу, чтобы поработить его.

Как друг свободы, ценить которую меня научили размышления, я с восторгом приветствовала революцию, убежденная, что она означает эпоху падения господства произвола, который я ненавижу, эпоху уничтожения злоупотреблений, по поводу которых я так часто вздыхала, тронутая судьбой обездоленных классов. Я с интересом следила за успехами революции, я принимала горячее участие в беседах об общественных делах, но я никогда не выходила из границ, положенных мне моим полом. Кое-какой талант, достаточное философское образование, мужество, которое встречается гораздо реже и которое позволяло мне во время опасности поддерживать мужество моего супруга, - вот то, что,

вероятно, втайне хвалили те, которые меня знают, и что создало мне врагов среди тех, которые меня не знают.

При моем мужестве мне было очень легко избежать следствия, которое я предвидела, но я считала более достойным подвергнуться ему. Я считала себя обязанной перед моим отечеством подать этот пример, я думала, что если меня осудят, то следует предоставить тирании совершить такое ненавистное дело, какова казнь женщины, единственная вина которой состоит в том, что она обладала некоторым талантом, которым она никогда не гордилась, большим желанием служить благу человечества, мужеством не отречься от своих друзей и рисковать жизнью за свою честь. Души, обладающие некоторым величием, умеют забывать о себе; они чувствуют, чем они обязаны человечеству, и видят себя лишь в зеркале будущих поколений».



Манон Ролан верна себе и снова стремится возвысить и обелить перед судом истории не только себя, но и партию, идейным вдохновителем, часто незримым, которой она была. Однако она умалчивает о том, что если бы победа оказалась в руках Жиронды, народные массы Франции вряд ли получили бы много больше, чем давала им абсолютистская власть монархии. Недаром народ Франции так ненавидел «бриссотинцев» и жену «рогатого Ролана». Высшей, кульминационной точкой подъема великой революции французов был период власти якобинцев, а они-то в глазах мадам Ролан являлись злейшими врагами всех замыслов ее лично и жирондистов.

Накануне суда и казни Манон писала Бюзо:

«Пребывай еще в этом мире, не спеши, если для чести существует убежище, оставайся, чтобы изобличить несправедливость, изгнавшую тебя. Но если упорное несчастье приковывает к твоим пятам врага, то не потерпи, чтобы против тебя поднялась наемная рука, умри свободно, как жил ты свободно, и пусть эта благородная храбрость, мое оправдание, через этот твой поступок будет и твоим оправданием».

Восемнадцатого брюмера II года (8 ноября 1793 года) в холодное бессолнечное утро на дворе тюрьмы Консьержери подле решетки столпились арестованные, ожидавшие в каменном безмолвии решения своей участи. Официальный «крикун», вызывавший ежедневно заключенных в суд, хрипло прокричал: «Гражданка Ролан». Она знала заранее, когда это наступит, и стояла у решетки неестественно прямая и напряженная. Впервые надетое белое кисейное платье было так нарядно, как те, что она одевала к министерскому обеду. Волосы, слегка завитые на висках, распущенные по плечам, молодили лицо. Маленькая шляпка-чепчик, модная во II год Республики, дополняла убранство.

Услышав свое имя, Манон, слегка наклонившись, подхватила шлейф и, обернувшись, слишком громко сказала несколько любезных слов окружающим, которые бросились к ней, охваченные безграничным ужасом и в то же время еле скрываемой радостью оттого, что каждому из них еще на день продлена жизнь. Улыбаясь, она вышла за ворота тюрьмы. С ней рядом в Революционный трибунал ехал полумертвый от страха Ламарк, ведавший напечатанном ассигнатов и обвиненный в измене. Оба эти человека предназначались гильотине одновременно.

Несколькими часами позже Манон была приговорена к смерти. В прениях суда ей не разрешили участвовать, и заготовленная речь осталась произнесенной. Революционный трибунал знал, что перед ним непримиримый и опасный враг, и был беспощаден к этой одаренной женщине, которая, оставаясь в тени, так умело руководила политической борьбой жирондистов, превратившихся во врагов революции. Не дослушав смертного приговора, госпожа Ролан вскричала: «Вы считаете меня достойной разделить участь великих мужей, убитых вами. Я вас благодарю и вместе с тем уверяю, что я постараюсь на пути к эшафоту показать то же мужество, что и они». Она напоминала о хладнокровии двадцати двух жирондистов, умиравших с пением «Марсельезы».

В пятом часу повозка палача повезла ее на площадь Революции, рядом с ней был опять Ламарк; он дрожал, метался, плакал, вызывая насмешки равнодушного палача. У Манон хватило сил обратиться к Ламарку со словами утешения и ободрения. Только раз по пути на гильотину речь ее беспомощно оборвалась на полуслове: покачиваясь и дребезжа, тележка проезжала тогда по мосту над Сеной, вдали показалась набережная Часов и дом с узеньким окном, похожим на бойницу. Воспоминания, сожаления, тени детства окружили Манон лишь на мгновение; площадь Революции и гильотина, скрытая гипсовой статуей Свободы, были совсем близки.

На улице Сент-Оноре вслед за тележкой двинулись немногочисленные любопытные. Интерес к зрелищам казней притуплялся. Прохожие равнодушно выслушивали имена смертников. В толпе Манон искала неотступно идущего Боска, который не отрывал от нее, как от святой, идущей на Голгофу, мокрых восторженных глаз. Рискую быть опознанным, Боск пришел в город, покинув хижину близ Парижа, где скрывался.

У помоста гильотины палач придержал лошадь, и осужденным помогли спуститься. Манон, все еще ободрявшая Ламарка, сказала ему заботливо: «Взойдите первым, у вас не хватит сил перенести зрелище моей казни». Ожидая своей очереди, она попросила перо и бумагу: верная себе, Манон хотела сохранить для потомства свои последние ощущения. Осужденной отказали в ее просьбе. Не говоря ни слова, госпожа Ролан взойшла на помост. Впоследствии легенда приписала ей слова, будто бы обращенные к белой Свободе, у подножья которой, словно жертвенник, стоял эшафот: «О Свобода, сколько преступлений свершается во имя твое!»

Едва казнь совершилась, площадь опустела. Ночью того же дня по ухабистой дороге, ведущей из Парижа в лес Монморанси, размытой осенним морозящим дождем, сгорбившись, плелся Боск. Он спешил обратно в лесной домик, где был в безопасности. Увлечение ботаникой и зоологией помогало ему довольствоваться обществом деревьев, цветов, птиц, белок и мелкого зверя. В одном из лесных закоулков, в расщелине скалы, Боск схоронил манускрипт госпожи Ролан.

В его хижине две недели скрывался и Ролан, бежавший впоследствии в Руан, где нашел убежище у давнишних приятельниц. Одряхлевший, утомившийся жизнью Ролан хотел умереть на эшафоте, как умерла Манон. Для этого следовало вернуться в

Париж, пойти в Конвент. Одна из престарелых подруг Ролана отвергла этот план, как ведущий к конфискации имущества, нужного для остающейся в живых дочери Евдоры. 15 ноября бывший министр закололся шпагой, скрытой в трости.

Бюзо скрывался в Бретани. Истощенный лишениями, он переходил с места на место, страшный той опасностью, которую нес с собой для тех, кто пускал его под свой кров. Повстречавшись с Петионом, он очутился вместе с ним в доме госпожи Буке - неустрашимой фанатической жирондистки, покинувшей Париж, чтобы помогать беглецам.

В ее домике в Сен-Эмильоне близ Бордо находилось семеро осужденных депутатов-жирондистов: Саль, Гадэ, Лу-ве, Барбару, Валлади, Петион и Бюзо. Все они прятались в похожем на грот колодце, задыхаясь от недостатка воздуха и сырости. Ночью госпожа Буке носила им еду и вино из своего погреба. Она давала им очень мало пищи, чтоб не возбуждать подозрения соседей количеством покупаемых продуктов: подвоз припасов в город становился все более незначительным. Спустя месяц госпожу Буке предупредили о предстоящем обыске, и жирондисты покинули ее усадьбу. Троиц - Барбару, Бюзо и Петиона - госпоже Буке удалось переселить в мансарду дома местного парикмахера Фрокара, заклятого врага революции.

В течение долгих месяцев Бюзо жил под крышей парикмахерской, никогда не выходя из своего убежища. Желчный и беспомощный, он утешал себя предвкушением невероятной, изощренной расплаты с Горой, когда его единомышленники вернутся к власти. Легко переходя от одного настроения к другому, Бюзо, однако, часто терял мужество и, как виноватый ребенок, оплакивал прошлое, свои неудачи и Манон.

Госпожа Буке не без успеха пыталась организовать переправу уцелевших жирондистов в Швейцарию и была уже у цели, когда обыск, обнаруживший ее связь с жирондистами, по-иному решил судьбу беглецов и самой [госпожи Буке](#). 17 июня 1794 года она была арестована и вскоре гильотинирована в Бордо.

Узнав об участии госпожи Буке, Барбару, Петион и Бюзо оставили небезопасный чердак Фрокара. Восемнадцатого июня 1794 года в поле близ Сен-Маньяна беглецы случайно натолкнулись на проходивший мимо отряд солдат. Барбару пытался застрелиться, но остался жив, был отправлен в Бордо, судим и казнен. Бюзо и Петион спаслись от преследования солдат в сосновом лесу, окаймлявшем

поле. Не надеясь на спасение, они приняли яд. Их тела были найдены 19 июня 1794 года, за восемь дней до переломной даты французской революции - 9 термидора - гибели якобинской диктатуры.

Дни Термидора явились в своем роде реваншем Жиронды. В Конвенте, пославшем на гильотину непримиримого вождя революции Робеспьера, в рядах «болота» заседали многочисленные сторонники жирондистов. Они отреклись от Бриссо и его друзей, едва выяснилась неизбежность их поражения, но не могли отречься от самих себя. Когда термидорианцы - организаторы заговора против революционного правительства - предложили «болоту» бок, эта колеблющаяся группа Конвента с готовностью пошла за ними. Они и решили в Конвенте судьбу Робеспьера.

Революционная диктатура якобинцев была сломлена, лживая либеральная фраза Прикрывала дело начинавшейся буржуазной контрреволюции.

Жирондист Луве, скрывавшийся долгое время вместе с Бюзо, благополучно вернулся в Париж и вместе с Боском вскоре после Термидора выпустил первое издание мемуаров мадам Ролан под заглавием «Призыв к беспристрастному потомству гражданки Ролан. Собрание всего написанного ею во время заключения в тюрьмах Аббатства и Сен-Пелажи». Книга была издана «в пользу единственной дочери гражданки Ролан, лишенной состояния своих родителей, имущество которых находится все еще под секвестром».

ГОСПОЖА РОЛАН

С. С.

Исторический вестник.

СПб. 1880. Т.3, сентябрь-декабрь

С. 804-843.

Текст приведен к современной орфографии.

Подготовила к веб-публикации: [Люсиль](#), Vive Liberta, 2003

<Подглавки I-III содержат пересказ популярных биографий о детстве Манон Флипон, поэтому я их опустила.>

Настроенная его [Руссо] сочинениями, она продолжала искать себе мужа-педогога. В числе женихов ее был один доктор. Эта профессия нравилась ей, и хотя сам жених был ей не по душе, она из принципа, потому что он был умный человек, с которым умная женщина может жить, дала ему согласие, но опять свадьбу расстроил отец.

Около этого времени г-жу Ролан ждала первая большая потеря в ее жизни: она лишилась матери. Повторившийся паралич унес ее в несколько часов. Потеря эта страшно поразила ее; она сама слегла и две недели провела между жизнью и смертью.

IV

Первое знакомство с Роланом. - Его личность. - Сватовство. - Отказ отца к монастырь. - Замужество. - Отношения г-жи Ролан к мужу. - Внутренняя борьба.

Госпоже Ролан было 20 лет, когда она познакомилась с своим будущим мужем. Он несколько лет бывал у них в доме прежде, чем она могла допустить мысль, что будет его женой. Дело в том, что он был вдвое старше ее и годился ей в отцы. Несмотря на все дифирамбы, которые она расточает ему в своих записках, выставляя его человеком во всех отношениях замечательным, это был довольно сухой педант с ограниченным умом и неограниченным эгоизмом. Старый холостяк с разбитым здоровьем, вечным катаром желудка, с необыкновенно высоким мнением о себе, он прикрывал свое ничтожество суровым видом республиканца, свое упрямство - твердостью характера. Это была одна из тех ученых бездарностей, которые внушают суеверное

уважение толпе и заставляют предполагать неизмеримую глубину там, где нет ничего, кроме тупого самообожания.

Своим первым знакомством с ним г-жа Ролан обязана была своей подруге. София Кане прислала его к ней с письмом, уведомляя ее, что податель этого письма г. Ролан Платьер и есть тот самый философ, о котором она говорила ей прежде, человек строгих нравов, пользовавшийся общим уважением и известный своею ученостью. Как светская девушка, София Кане находила в нем только два недостатка: его слишком неограниченное поклонение древности и презрение к современникам и его страстишку говорить о себе.

Его сухой, отрывистый голос, как у людей, страдающих одышкой, был неприятен для уха, хотя он и говорил очень умные вещи. Так по крайней мере казалось 20-летней девушке, давно уже томившейся ожиданием умного и образованного человека, который рисовался в ее воображении.

После смерти матери жизнь ей стала не весела. Отец завел себе любовницу, бросил дела, втянулся в картежную игру и проживал не только свое, но и ее состояние. Первое время он еще стеснялся, старался иногда сидеть дома и играть с дочерью в пикет; но так как обыгрывать дочь интереса не представляло, да она и сама видимо томилась этим, чувствуя непобедимое отвращение к картам, то он освободил наконец и себя и ее от этих подвигов самопожертвования.

Г. Ролан продолжал бывать у них; он любил поговорить, а Мария Флипон умела слушать. Между ними скоро установились дружеские отношения. Уезжая в Италию, Ролан вручил ей на хранение все свои рукописи. Доверие его чрезвычайно польстило ей. Полтора года, проведенные им за границей, устроили его сердечные дела лучше, чем он мог бы устроить их сам. Его путевые записки и философские размышления были читаны и перечитаны молодою Флипон. Судьба, видимо, хотела подшутить над ней, посылая ей в молодости таких людей, как Ролан и Ла-Бланшери и только в зрелых годах бросив ее в кружок людей, действительно умных и талантливых и способных зажечь в ней позднюю и неудовлетворенную страсть. Нужно было всю ее неопытность, незнание людей и страстное желание вырваться из

отцовского дома, чтобы поверить в таланты Ролана и отдать ему свою судьбу.

Как истинный философ, он употребил пять лет на то, чтоб объяснить ей свои чувства. Когда он сделал ей предложение, она была страшно удивлена. По ее словам, она привыкла смотреть на него, как на существо, не имеющее пола. Но таково было влияние этого сухого моралиста на полную жизни и огня девушку, что она считала себя недостойной его и откровенно объяснила ему, что не может быть хорошей партией для него; отец ее разорен, а ее личное состояние не превышает ливров годового дохода. Она серьезно советовала ему подумать, но он настаивал и, тронутая этим, она согласилась.

Отец ее посмотрел на дело иначе. Чопорность Ролана была ему не по душе; он никак не хотел допустить, чтобы дочь его, отказавшая выгодным женихам, которые могли бы обеспечить ее на всю жизнь, могла выйти за эту высохшую мумию. Не посоветовавшись с нею, он послал ему отказ, и в самых жестких выражениях. Дочь после этого объявила ему, что не хочет больше жить с ним в одном доме, оставила ему кое-как серебро на уплату его долгов, себе взяла комнатку в монастыре, где и прожила полгода, питаясь картофелем, бобами и рисом, во всем нуждаясь и изредка только навещая отца, чтобы привести в порядок его платье и белье. Все это было сделано сгоряча, в надежде на то, что жених прилетит к ней и вырвет ее из этого добровольного заточения.

Но время шло, а влюбленный философ писал к ней трогательные письма, но этим и ограничивался. В 45 лет любовь глупостей не делает. Мария Флипон поняла это, и это значительно отрезвило ее. Но гордость не позволяла ей изменить своему слову и вернуться к отцу. Через полгода Ролан надумался и пришел навестить ее. Свидание это опять воспламенило его, и он тут же повторил свое предложение. На этот раз она задумалась; но другого выхода не было, и она дала свое согласие. Безумный шаг, который стоил ей потом долгой, непрерывной борьбы! Ей нужно было призвать, на помощь всю свою философию, чтобы сделать из себя сиделку, сестру милосердия и домашнего секретаря своего мужа; чтобы, удовлетворяя всем его старческим капризам, убедить себя, что

она служит великому человеку. Учиться у него алгебре, которая отталкивала ее своею сухостью, составлять ему гербарии, переписывать и держать корректуру его сочинений, самой готовить ему те кушанья, которые мог переварить его ученый желудок и не сметь даже противоречить ему, чтобы не вызвать тени неудовольствия на его лице - вот что в течении 12 лет наполняло жизнь этой умной и энергичной женщины.

Нужно было иметь огромную силу воли, чтобы, обманывая других, обмануть и себя, чтобы писать проекты своего мужа, управлять его именем, вдохнуть в него душу, толкнуть его на политическую арену и каждую минуту повторять себе, что он все, а она только его орудие. Это был подвиг в полном смысле слова и она его совершила. Все 400 страниц ее мемуаров пересыпаны восклицаниями о том, что муж ее не умрет в потомстве, что справедливость Аристиды и строгость Катона были не единственными его добродетелями, что если б ему немножко побольше знания людей, то он был бы способен управлять не только министерством, но целым государством. Из плохого чиновника и посредственного ученого у нее выходил какой-то доблестный герой. Мы не стали бы распространяться об этом, если б вместе с своей женой «добродетельный Ролан» не дурачил других и, завертываясь в свою римскую тогу, не поднимался на неподобающую ему высоту. Все его добродетели, о которых столько трубили тогда, ограничивались честностью и надо признаться, мало делали чести его времени, если человек, не набивавший себе кармана чужими деньгами, мог так сильно гордиться этим.

Что же дала г-же Ролан ее жизнь с ним? «Были минуты, - говорит она, - когда я чувствовала, что мы не пара. Когда мы жили в уединении, мне бывало под час тяжело; когда мы бывали в обществе, мне встречались люди, которые мне нравились и к которым и я не всегда могла остаться равнодушной». При таких условиях уединение все-таки было лучше: оно меньше представляло соблазнов, с тех пор особенно, как у нее родился ребенок и можно было приложить к делу свои теории воспитания.

Семейные подвиги г-жи Ролан, были несколько не меньше ее политических подвигов, и ее жизнь с сварливой и капризной

свекровью, этот добровольный искуc, которому она подвергала себя, столько же делали честь ее мужеству, сколько и знаменитое впоследствии письмо к королю. Чтобы попятить политического деятеля в г-же Ролан, нужно видеть в ней женщину и проследить ту адскую работу воли, ту постоянную ломку, которой она подчинила себя и свои чувства. Слишком самолюбивая, чтобы стоять на заднем плане, она не искала дороги в высший свет, где могло быть только одно приличное для нее место, но и то уже к несчастью занятое, - место французской королевы, этой ветреной, дерзкой, самоуверенной, преданной чувственным наслаждениям австрийки, как она о ней отзывалась. Даже эшафот, уравнивавший всех, не мог примирить ее с ней; она возмущалась тем, что их участь одинакова. Вообще чувство снисходительности к врагу было ей незнакомо: она не признавала в другом лагере не только добродетелей, но даже и талантов. После своего мужа она считала способными людьми только пять-шесть человек из его партии; все остальное было на ее взгляд или развратно, или ниже посредственности. Франция представлялась ей какой-то пустыней, в которой нельзя было набрать десяти человек, чтобы поставить во главе какого-нибудь дела. Интересен между прочим ее отзыв о Неккере, которого она называет жалким ничтожеством с раздутой славой и неимоверно высоким мнением о себе, не подозревая, что этот отзыв мог быть всецело применен к ее мужу и к целой плеяде подобных ему государственных людей, о которых еще Монтескье сказал, что они поддерживают государство так же, как веревка поддерживает повешенного.

V

Перелом в жизни г-жи Ролан. - Начало революции. - Отношение к народу. - Ее идеал. - Возникновение ее салона. - Разочарование в людях. - Знакомство с Робеспьером. - Ролан сделан министром.

Жизнь г-жи Ролан представляет собственно два периода: тридцать семь лет неизвестности и два года политической деятельности. Мы видели первый, перейдем теперь ко второму.

Начало революции застало Ролана в Лионе, где он служил по городским выборам и обличал злоупотребления городской администрации. Финансы города представляли тогда сколок с государственных финансов и благодаря повальному грабежу

были в таком же безнадежном состоянии. Лион имел 40 миллионов долга. Фабрики остановились, 20 тысяч рабочих сидели без хлеба, нужно было довести об этом до сведения национального собрания и депутатом туда был отправлен Ролан. В феврале 1791 г. он приехал с женой в Париж.

В жизни ее с этой минуты наступает страшный перелом. Семья, привязанности, даже любовь к дочери, все отступает на задний план! Политика как вино ударила ей в голову. Ход событий казался ей слишком медленным. Если б это было в ее власти, она сразу подвинула бы его на десять лет. Она испытывает адские мучения, когда видит, что около нее медлят, идут на сделки, чего-то выжидают. Наносить удары врагу и наносить их метко, кажется ей единственным полезным делом. Она не верит в возможность мирных переворотов. Она ждет какого-то возрождения, которое сразу осчастливит целую массу народа. Но еще важнее, чем это народное благо, было для нее уничтожение некоторых ей лично неприятных предрассудков и привилегий. Чтобы талант мог занять подобающее ему место, нужно было сравнять почву.

Что народ был тут на втором плане, а на первом стояло для нее торжество буржуазии, в этом нас убеждают собственные ее признания, разбросанные в ее записках. Посмотрим, как она относилась к этому народу, во имя которого начиналась революция. В двух-трех местах есть, правда, слова о том, что она, скорбела о его печальной участи. Но так ли это? Не было ли это чувство вымышленным и не служило ли оно оправданием к тому, чтобы с оружием в руках добывать себе право на известность и на участие в государственном управлении? Что такое был народ в ее глазах? Трусливая и невежественная масса, у которой эгоизм шел об руку с ленью!»¹⁾ Толпа глупцов, всегда готовая поклоняться тому, кто громче кричит. Удивить ее, ошеломить - значит в тоже время и повелевать ею! Каждый фанатик, каждый ловкий плут, может это сделать. «О, как прав был тот древний оратор, - восклицает она, - который, услышав, что народ аплодирует ему, обратился к своим друзьям и спросил, не сказал ли он какой-нибудь глупости!»

«Народ несчастен и достоин сожаления, потому что его обманывают и ведут на казнь в лице его лучших представителей: (т. е. жирондистов).

Народ утопает в невежестве и упивается клеветой²⁾. Все попытки к возрождению его бесполезны; в нем слишком много низких инстинктов, он погряз в пороках... Мы думали поднять его, говорит она, забывая, что низость и эгоизм лежат в основе его характера³⁾.

Свобода создана только для гордых душ, которые презирают смерть и умеют во время поразить врага, а не для этой развращенной нации, которая выходит из грязи и нищеты только для того, чтобы погрузиться в разврат и упиваться кровью эшафотов»⁴⁾.

Но довольно об этом! Достаточно будет прибавить, что когда в тюрьме она столкнулась с этим народом, она почувствовала такое отвращение к нему, что избегала выходить из своей комнаты и нанимала женщину, которая носила ей воду, чтобы только не смешиваться с толпой. В ее отношениях к ней проглядывала та же смесь высокомерного сожаления и презрения, которого она не могла простить аристократам в отношении себя. Она не прочь была сделать и добро, она лечила, например, крестьян в деревне, но точно то же могла сделать и любая из ненавистных ей аристократок. Воспитанная на древних классиках, поставившая себе за идеал греческие республики, - где какой-нибудь десяток тысяч свободных граждан процветал, опираясь на рабство и на крепостной труд других десятков тысяч, она не могла стать выше своего века и в своем стремлении пересадить афинскую республику на французскую почву должна была вместе с сотнями других, подобно ей заблуждавшихся людей, потерпеть полнейшую неудачу.

В Париже скромная квартирка ее сделалась скоро центром целого кружка. Соединяющим звеном послужило в начале то, что хозяйку всегда можно было застать дома и что она жила в такой части города, куда каждому из членов кружка недалеко было идти! Четыре раза в неделю по вечерам у нее собирались депутаты и обсуждались государственные вопросы. Не принимая участия в прениях, она сидела в стороне и, прислушиваясь к разговорам, работала или писала. Иногда ей случалось написать

до десяти писем в вечер, не теряя ни одного слова из того, что говорили. Сама она еще не решалась заговорить: 37 лет скромной жизни не дали ей уверенности в том, что она не глупее других и что все эти государственные деятели только с виду так страшно умны, а на деле очень часто пустейшие люди.

У нее не было еще тогда сознания, что людей в Париже нет, что посредственность царит везде и превосходит всякое вероятие, что начиная с низшего агента, от которого требуется только здравый смысл и грамотность в изложении своих мнений, и до генералов, командующих армиями, все это сплошь заражено той же эпидемией ничтожества. «И не то, чтобы не было умных людей, *l'esprit court les rues!* - говорит она, - но не было решительно людей, способных управлять, не было характеров и ширины взгляда». Все эти горькие заключения, к которым она пришла, когда муж ее был министром, в то время были еще чужды ей. Она была скромна, как институтка, и думала, что люди, которые говорят громче ее, непременно должны быть умнее ее. Она, читавшая Монтескье, Руссо, Вольтера и всех умнейших авторов своего века долго не могла выйти из под обаяния этих ораторов и, слушая их горячие речи, не смела возвысить голоса.

Но слушал постоянно эту болтовню и легкость, с какою эти господа болтали по три, по четыре часа, ни к чему решительно не приходя, она начала задумываться. «Возьмите каждого в отдельности, говорит она, - вы слышали превосходные мысли, прекрасные соображения! Но все вместе взятое совершенно лишено всякого определенного плана. Прекрасные ораторы и философы, умнейшие политики на словах, они ничего не стоили, когда нужно было действовать; ни знания людей, ни умения управлять ими не было и тени!» Все разговоры и разговоры! Ей это, наконец, так надоело, что у нее явилось неудержимое желание дать им всем пощечину, не смотря на несомненную честность их убеждений.

К этому времени относится и ее знакомство с Робеспьером, которому она долго за его благие намерения прощала ту скуку, какую он на нее наводил. Ее участие к нему доходило до того, что в один из бурных дней революции, когда он не мог считать себя в безопасности, она с мужем отыскивала его по городу,

чтобы предложить ему приют у себя в квартире. Для нее, как и для некоторых из ее друзей, он был тогда просто «несчастный молодой человек».

На этот раз они пробыли с мужем в Париже семь месяцев и уехали в деревню, где и провели всю осень. Одним из последних постановлений национального собрания уничтожалась должность правительственных инспекторов мануфактур и Ролан, занимавший ее, решил ехать опять в Париж, чтобы хлопотать о пенсии за сорокалетнюю службу. Они вернулись туда в декабре, когда был поднят вопрос о новом министерстве и двор, готовый на все уступки, искал популярных министров. Римская тога Ролана, на этот раз пригодилась ему. Его республиканские убеждения, его ничтожество и упрямство, имевшее вид твердости, были именно теми добродетелями, которые требовались тогда от популярного министра. В конце месяца он получил назначение и вместе с Дюмуре приехал сообщить об этом жене.

VI

Дюмуре. - Мнение г-жи Ролан о нем и о других министрах. - Ролан во дворце. - Совет министров. - Салон сформировался. - Борьба с Дюмуре. - Письмо к королю. - Отставка.

Первым чувством г-жи Ролан, когда она узнала об этом, было опасение, что с таким человеком как Дюмуре, ее муж не уживется. Инстинкт говорил ей, что Дюмуре, эта умнейшая личность во всем министерстве, не постеснится, когда ему нужно будет снять с дороги какого-нибудь Ролана. Умный и ловкий придворный, он мог шутя столкнуть недалекого республиканца. Его свободные, непринужденные манеры, его привычка вращаться в высшем свете и слишком проницательный взгляд не понравились ей с первого знакомства. Она поняла, что этого человека трудно будет закрепить за собою и что в их кружке он пассивной роли играть не станет. Человек незнатного происхождения, как и все почти люди их партии, он мог всего ожидать от революции, но ловкость, с какой он создавал себе друзей во всех кружках, не позволяла ему принадлежать исключительно ни одному из них. Генерал, умевший быть популярным при дворе, в армии и среди якобинцев, был не надежным другом в глазах г-жи Ролан. Нельзя было ожидать,

чтобы 50-летний мужчина, любивший весело пожить и проводить время с актрисами, мог находить особенное удовольствие в салоне хотя и красивой, но уже отцветающей женщины и притом с несомненным притязанием на политическую роль. Она видела в нем умного развратника, он в ней - скучного фанатика. Дальше этого их отношения не шли.

Она саркастически замечает, что он должно быть очень веселый собеседник в обществе мужчин, когда они подвыпьют, и женщин сомнительного поведения, но что с порядочной женщиной он чувствует себя неловко. Вообще, на ее взгляд, его место было при дворе старого режима; революция захватила его врасплох; он мог служить ей смелостью и подчас гениальностью своих планов, но никогда ни одного из них не в состоянии был довести до конца. Чтобы стать во главе партии, ему не доставало только одного убеждения! Он никогда не верил сам тому делу, которому служил. Он весь вылился в двух словах:

- Если б я был на месте короля, говорил он, я провел бы все партии и сам стал бы во главе революции.

Из остальных министров, никто по ее мнению не стоял на высоте своего призвания. Она выделяет только военного министра Сервана, человека бесконечно ей преданного и служившего орудием в ее руках. Обо всех других она отзывается только мельком и довольно жестко. Так, морской министр Лакост, чиновник с ног до головы, не отличался ни деятельностью, ни шириной взгляда, необходимою в такие времена. Министр юстиции казался ей старей бабой по своей трусости и страсти к дрязгам. Нисколько снисходительнее относится она к министру финансов Клавьеру, человеку их партии, которого вместе с ее мужем выдвинули жирондисты; его она признает хорошим работником, но замечательно упрямым человеком, не уступавшим ни одной занятой в своих проектах. Как истый кабинетный ученый, он не хотел знать ни жизни, ни чужих мнений, и находился в вечной войне с ее мужем. При всем своем взаимном уважении эти люди друг друга терпеть не могли.

Такое разнокалиберное министерство из ученых, чиновников и республиканцев, с ловким придворным во главе, уже само в себе носило признаки разложения, что и не замедлило вскоре обнаружиться. Предоставленное себе, оно

тотчас же разделилось на две партии: в одной стоял Дюмуре и Лакост, в другой три жирондиста - Ролан, Клавьер и Серван; один только министр юстиции сохранял нейтралитет.

В первое свое появление при дворе Ролан вполне достиг своей цели поразить и ужаснуть всех своей независимостью. Он пришел во дворец до того небрежно, даже грязно одетый, что произвел общий скандал. Главный церемониймейстер подошел к Дюмуре и, указывая с беспокойством на Ролана, шепотом сказал ему:

- Как, monsieur! даже и башмаки без пряжек?

- Да, monsieur! - ответил Дюмуре невозмутимо, - все погибло!..

Г-жа Ролан не без удовольствия рассказывает об этом эпизоде, видимо полагая, что и он клонится к прославлению ее мужа. А между тем он своею мелочностью в проявлении патриотизма и своей неряшливостью, которую выставлял напоказ, вызывал насмешки даже со стороны Марата, а Камилл Демулен, долго спустя после его смерти писал: «Я не думаю, чтобы свобода обязывала кого-нибудь ходить в грязи, в рваном платье и с продранными локтями, как я часто видал Ролана и Гаде, которые этим щеголяли».

Но войти во дворец в грязном платье оказалось легче, чем сохранить там свою независимость, и г-жа Ролан скоро должна была убедиться в этом. В совете министров, по ее словам, больше вели салонные разговоры и рассказывали анекдоты, чем занимались государственными делами. Король читал газеты, с каждым из министров считал долгом поговорить о его личных делах и так очаровал Ролана, что тот снял на время свою римскую тогу и, постепенно размягчаясь, приходил из совета к жене в самом добродушном настроении. Та не могла простить ему этого и говорила, что всякий раз, как она видит его в таком настроении, она ждет, что он сделает какую-нибудь глупость.

- Какую роль вы там играете! - говорила она. - Вы все в прекрасном расположении духа, потому что вам не делают неприятностей, напротив за вами ухаживают. Каждый из вас думает, что может делать, что хочет, тогда как я уверена, что вас всех там дурачат.

Совет министров собирался четыре раза в неделю. В эти дни министры обедали поочередно друг у друга. У г-жи Ролан приемный день была пятница. На этих то пятницах она впервые выступила в роли политического деятеля. Ее салон, хотя она упорно утверждает, что салона у нее не было, а был только кружок ее друзей, с этих пор носит исключительно политический характер. Тут обсуждались все меры, имеющие целью унижить или оскорбить двор; тут сходились министры и депутаты, сочинялись письма, воззвания, циркуляры; отсюда управлялось министерство внутренних дел и контролировалось настроение умов в провинции. Здесь делили карту Франции и проводили черту, за которую не должен переступить монархизм; здесь изучали военные позиции и производительные силы страны и открывали- превосходное настроение Юга. Здесь же разыгрался эпизод, положивший начало непримиримой вражды Дюмуре и Ролана.

В городе разнесся слух о какой-то крупной взятке, которую взял один из чиновников Дюмуре, директор департамента иностранных дел, и поделился ею с любовницей Дюмуре, m-me Вовер. История эта была рассказана в салоне г-жи Ролан. Весь кружок возмутился этим и устроил что-то вроде суда над Дюмуре, которому посоветовали быть вперед осторожнее в выборе своих агентов. Ролан выступил при этом в роли обвинителя. Дюмуре, смотревший по-своему на вопросы нравственности и полагавшей, что на такие пустяки не стоит обращать и внимания, сначала отделялся шутками, но потом сам резко отвечал и прекратил свои посещения. Г-жа Ролан поняла, какого врага они нажили в нем и дала понять мужу, что если он не хочет, чтобы Дюмуре столкнул его, то пусть постарается столкнуть его первый.

Сделать это было, однако, труднее, чем она думала. Этот гениальный интриган нашел комбинацию, которая сразу давала ему две точки опоры: популярный во дворце, сильный личным расположением короля и королевы, он не побоялся войти на трибуну якобинцев и оттуда протянуть им руку, как друзьям. Оставляя таким образом за флагом жирондистов и г-жу Ролан, он смотрел дальше и видел лучше их.

После разрыва с ним ей легче было овладеть мужем, вырвать его из под влияния короля и вдохнуть в него ту энергию, которою она дышала сама. Через свою креатуру Сервана ей удалось провести в национальном собрании декрета о 20-ти тысячной армии, которую решено было собрать в провинции и двинуть в Париж, как охрану для национального собрания. Не трудно было догадаться, против кого именно предназначалась эта армия. Король отказался подписать декрет. Все-это время г-жа Ролан находилась в возбужденном состоянии. С таким орудием, каким были в ее руках два министра - ее муж и Серван, она могла направлять удары далеко. Борьба при таких условиях казалась ей не только возможною, но и желательною. Она знала, что за ней стоит целая пария, достигшая высшей точки своего могущества. Действительно это было время торжества жирондистов. Горячая речь их гремела отовсюду; на всех трибунах царили их ораторы; из других кружков слышались только одиночные протесты, тотчас же подавленные обвинениями в измене и мятеже. Они так же не скупилась на эти обвинения, как потом и их враги.

Возраставшая популярность Дюмуре не давала покоя г-жи Ролан. С той минуты, как он ушел из их кружка, сошелся с якобинцами и успел втереться в доверие к королеве, она считала невозможным, чтобы муж ее продолжал служить с ним. Надо было поставить вопрос прямо: он или Дюмуре! Решить это мог только король, но и он в ее глазах был таким же опасным врагом. Его целью было скомпрометировать министров и лишить их популярности. Чтобы не допустить до этого, нужно было принять мира и уронить его во мнении народа прежде, чем он успеет уронить в его мнении министров.

Она убедила мужа, что ему остается только два выхода - или вырвать у короля подпись ненавистного ему декрета, или подавать в отставку. Но уйти молча, как мог это сделать всякий последний чиновник, она считала недостойным его. Нужно было разоблачить политику двора и написать род манифеста, который в одно и то же время послужил бы оправданием ее мужу и обвинительным актом против короля. Нужно было, чтобы отставка Ролана явилась гражданским подвигом и послужила к его прославлению; и вот они вдвоем решили написать письмо и убедить министров подать его королю, как коллективное

заявление от всего министерства. Письмо было написано, министры приглашены на совещание, но резкий тон послания заставил их призадуматься. Начались споры из-за отдельных фраз, один предлагал подождать, другой совсем отказывался подписать его. Было ясно, что соглашение не возможно. Тогда г-жа Ролан убедила мужа действовать одного и подать заявление только от своего имени.

Знаменитое письмо это, имевшее скорее вид доноса, так как целью его было не убедить короля, а унижить его в общественном мнении, всецело принадлежало ее перу. По ее словам, оно было написано одним духом, как и все почти, что она писала в этом роде. Предоставляем судить читателю о благоразумии министра, прибегавшего в решительные минуты к перу раздраженной женщины и выпускавшего как манифест пространное, цветистое и во всех отношениях бестактное послание своей жены. Г-жа Ролан не имела за собой даже того оправдания, что ее целью было открыть глаза королю; угрожающий и оскорбительный тон письма не допускал этой мысли, а употребление, которое она сделала из него впоследствии, еще яснее показало, в чем именно заключалось ее намерение. Она знала, что должно случиться одно из двух: или письмо напугает короля и заставить его искать спасения в их поддержки; тогда они поставят ему условием удалить Дюмуре и во главе министерства станет ее муж; или письмо оскорбит короля, тогда ее муж предаст его гласности.

Если в первое министерство Ролана совет министров занимался болтовней и невинными анекдотами, то на этот раз в нем происходили сцены иного рода и бурные прения часто оканчивались взаимными дерзостями. Ролан, желая, чтобы каждое его слово дошло до потомства, хотел непременно, чтобы на заседаниях совета присутствовал секретарь, обязанный буквально записывать прения. Но так как в эти дни общего возбуждения трудно было найти человека, который согласился бы молчать, то и секретарь частенько вмешивался в прения. Ролан сделал ему раз замечание.

- Да что же я, по-вашему, чернильница, что ли? - крикнул раздраженный секретарь.

Ролан прочел ему нотацию, но в словах секретаря отражалось только общее настроение: никто не хотел быть

чернильницей. Оправдывая бездействие своего мужа после 2-го сентября, когда было перебито в тюрьмах до тысячи человек, г-жа Ролан всю вину сваливает на собрание и на коммуну. Она не находит слов, чтобы заклеить трусость собрания, которое оставило безнаказанными виновников резни. Но что делали с своей стороны министры? Что сделал ее муж? Он писал и писал без конца, и в коммуну, и к военным властям, и к народу, приглашая заблудших братьев придти в его объятия. «Si des freres egares reconnaissent qu'ils se sont trompes, - говорит он, - qu'ils viennent! mes bras leur sont ouverts!»⁵⁾ Он отделял свои фразы, когда нужно было действовать. «J'ai admire le 10 aout, j'ai fremit sur les suites du 2 septembre!»⁶⁾ Так начинает он одно из своих излияний. И в то время, как Дантон устраивал свои дела, всюду набирая себе приверженцев и создавая себе друзей в армии, он сочинял послания в провинцию. Дантон запустил руку в общественный суммар и тратил их бесконтрольно, никому не давая отчета. Но почему же Ролан допустил это? почему он не вступил с ним в борьбу? Г-жа Ролан объясняет это: министерство представляло для него слишком сложный механизм; подробности поглощали его... Он писал циркуляры.

Испуганные новым движением, жирондисты провозгласили наконец-то, что им следовало провозгласить давно: что Париж не Франция, и что горсть бунтовщиков не составляет народа. Но то, что имело бы силу в июне и в августе, теряло всякое значение в сентябре. Пока народное восстание служило им, они признавали его божественным правом народа. И кровь, пролитая 10-го августа, кровь защитников тюлерийского дворца, была признана неизбежной и печальной жертвой народного возмездия. Но когда то же возмездие пошло дальше и грозило их собственным идеям, они заговорили об анархии, о тирании демагогов, они взывали к провинции, возбуждая ее против Парижа. Эта страшная непоследовательность подкосила в корне их партии; если прибавить к этому, что ее лучшие представители, сильные на трибуне, были мало способны к какой либо иной деятельности, что адвокаты и журналисты по профессии, они таковыми же оставались и в самые критические минуты революции, полагая, что убили врага сарказмом или ловкой остротой, то станет

понятно, почему дни их партии были сочтены и никакие манифесты и циркуляры не могли ее спасти.

VIII

Народная депутация в министерство внутренних дел. - Письмо Ролана в законодательное собрание. - Террор. - Воззвание к Парижу. - Ролан-обвинитель коммуны. - Защитник г-жи Ролан. - Вторичная отставка. - Обвинение в измене. - P?ge Duchesne и его нападки на г-жу Ролан. - Жизнь ее в опасности.

В знаменитое воскресенье 2 сентября, когда известие о неудаче французских войск на границе подняло обезумевший народ, и кровь лилась во всех парижских тюрьмах, депутация из 200 человек явилась в министерство внутренних дел и громко требовала министра. Ролана не было дома. Жена его, услышав шум, выслала к ним сказать, что если они желают, то могут говорить с ней. Несколько человек поднялись к ней наверх и объявили, что им нужно оружие: они хотят идти на пруссаков. Она стала объяснять им, что у ее мужа нет оружия, что они могут обратиться за этим в военное министерство. Ей отвечали непечатной бранью и потребовали самого Ролана. Тогда она, чтоб убедить их, что его нет дома, предложила им осмотреть вей комнаты и еще раз посоветовала идти в военное министерство или наконец идти в коммуну с жалобой; а кто хотел говорить с ее мужем, тот мог найти его в морском министерстве, где в эту минуту был в сборе весь совет министров.

О резне, происходившей в эту ночь, узнали только на другое утро. Первым делом Ролана было написать в собрание донесете обо всем случившемся. «Письмо это, столь же знаменитое, как и его письмо к королю, - говорит г-жа Ролан, - подняло такую же бурю восторгов». Хотя собственно трудно понять, к чему могли относиться эта восторги? Неужели описание ужасов этой ночи было так картинно составлено, что могло возбудить восторг, и собрание, как Нерон, аплодировало зрелищу? Как бы то ни было, но оно ничего лучшего не придумало, как напечатать и повсюду, разослать речь министра. Г-жа Ролан видит в этом весьма понятную дань удивления слабых людей перед мужеством человека, которым они восхищаются, но которому не смеют подражать. И забывая, что ее муж не журналист, а

государственный человек, она восхищается в нем тем, за что клеймит депутатов: его многословием.

Резня продолжалась; полиция оказалась бессильной; мирные граждане сидели по домам, не решаясь выйти на улицу. И так продолжалось четыре дня! Несколько сот человек навели террор на весь Париж. У Ролана разыгрались его катары, разлилась желчь. 3-го числа он писал: «я требую отставки, если законы запрещают мне действовать». Но 5-го числа резня продолжалась, а он все оставался министром. 13-го, он обратился с длинным воззванием к Парижу, стараясь оправдать себя в его глазах. Вообще задача была нелегкая: воздавая хвалу Парижу за резню 10-го августа, произнести слово осуждения за резню 2-го сентября! Нужно было, одним словом, подорвать силу коммуны, услугами которой можно было пользоваться, пока она была нужна, но которую следовало немедленно уничтожить.

Г-жа Ролан высказывается на этот счет очень решительно. Это опять та же теория о герцоге Орлеанском. Так как самые энергичные деятели не всегда бывают самыми честными людьми, то нужно ими пользоваться, пока есть в этом надобность и удалять их, как только надобность в них миновала. В августе коммуна сослужила службу республике, - это было хорошо; но в сентябре она ударила в крайность - это было дурно! нужно было обуздать ее и Ролан явился ее обвинителем в собрании. Обвинять ее - значило обвинять Париж! Попытка довольно смелая со стороны человека, который за несколько дней до этого уверял, что героизм столицы нанес последит удар деспотизму.

На обвинение в тирании коммуна ответила Ролану тем же. Среди монтаньяров пронеслось насмешливое прозвище короля Ролана или roi Soso, как называл его Эбер в своей газете. За ним полетели другие, все более и более нелепые обвинения: в воровстве, в тайных сношениях с пруссаками. В одном из шумных собраний за честь оскорбленного министра вступился друг его жены, мрачный жирондист Бюзо, последняя любовь г-жи Ролан, человек, внушавший ей такую же безумную страсть, какую чувствовал к ней сам.

- Никогда, - гремел он, - люди 10-го августа не могут сойтись с убийцами 2-го сентября!

В собрании поднялся шум.

- Не о вас говорят! - кричали ему со всех сторон. Но постоянные нападки на Ролана, в которых нередко задевали и его жену, вывели его из себя, и не было никакой возможности растолковать влюбленному, что не о нем говорят.

Ролан догадался, наконец, что надо уходить. В январе он подал в отставку. На этот раз никто его не удерживал; отставка его встречена была общим молчанием и он удалился в глубоком унынии с одним только желанием провести остаток своих дней в тишине и неизвестности! Желание мало исполнимое в это время, когда судьба жирондистов была решена и начались уже повальные обвинения их в измене, в сношениях с Дюмуре, в намерении отделить Париж от провинции... Каждая новая неудача в армии и новое волнение в провинции, возбуждая умы парижан, только ускоряло гибель людей, заподозренных в том, что они хотят двинуть на Париж силы департаментов. Мог ли простить самодержавный Париж такое посягательство на свое великое мировое значение, и если б жирондисты не были виновны ни в чем другом, то и этого одного было достаточно, чтобы повести их на эшафот!

Все время, пока Ролан оставался министром, он был предметом насмешек разных якобинских газет, особенно знаменитого *Père Duchesne*, этого органа парижской коммуны. Листок этот, выходявший иногда - в 80 тысячах экземпляров, всегда на дрянной, пропускной бумаге, со множеством грамматических ошибок и без обозначения месяца и числа, с особенным ожесточением преследовал жену министра и говорил о ней, как о старой, раскрашенной бабе с фальшивыми волосами. Никакая клевета не могла более оскорбить г-жу Ролан и она не в силах была забыть ее. *Père Duchesne* представлял ее не иначе, как возлежащую на софе, *comme la ci-devant reine, madame Coso*, окруженную своими поклонниками, разными жирондистскими, *beaux-esprits*, и рассуждающею без конца о войне, о политике, о народном продовольствии... Не мог он также простить ей ее министерских обедов, где собирались все те же ненавистные ему умники, и за хорошим обедом, поливая его хорошим вином, рассуждали о политике. *Père Duchesne* рассказывает с злой иронией, как депутация санкюлотов явилась раз к добродетельному Ролану в то время, когда он обедал и как

будто бы двадцать поваров готовили ему разные фрикасе, а служившие за столом лакеи бежали мимо них с блюдами и просили дать им поскорее дорогу, так как они несут соусы добродетельного Ролана. Рассказывалось далее, как один из депутатов опрокинул впотьмах десерт добродетельного Ролана и т.д. *Père Duchesne* описывал не только обеды министра, но и любовников его жены.

Рядом с этими безнаказанными нападками на Ролана в газетах, даже и самая жизнь его не была в безопасности. Какие-то подозрительные личности бродили по вечерам около его дома. Каждую ночь можно было ждать, что эта ночь будет для него последнею; и он, и жена иначе не спали, как с пистолетом под подушкой. Нужно было особенно любить власть, чтобы не иметь сил расстаться с ней даже и при таких условиях. Друзья несколько раз предостерегали их и не советовали оставаться ночью в министерском отеле. Г-жа Ролан только раз уступила этим советам и уже переоделась в крестьянское платье, чтобы уйти из дому незамеченной, но досада на себя за свою минутную слабость заставила ее сбросить с себя это платье и остаться на зло всем. В этом случае ею руководили еще и другие соображения: она справедливо рассуждала, что в своем доме они более безопасны, чем на улице. Можно было убить министра из за угла, но чтобы напасть на него в его собственном доме требовалось гораздо больше дерзости со стороны его врагов и не могло остаться безнаказанным. «Если б это даже и случилось, говорит она, тем лучше! министр, погибший на своем poste послужил бы своей смертью общему делу и не был бы забыт потомством». Она сама не прочь была погибнуть со славой, чтобы это видел целый народ и не забыла об этом история. Такая именно смерть и ожидала ее.

IX

31 мая. - Попытка арестовать Ролана. - Г-жа Ролан в Конвенте. - Ее негодование. - Разговор с санкюлотамн. - Сцена ареста. - Тюрьма. - Душевное состояние г-жи Ролан. - Эпизоды в тюрьме. - Письмо к Робеспьеру. - Скупость казны относительно заключенных.

Последний день мая был роковым днем для жирондистов. Дело шло для них уже не о победе, а просто о личной безопасности.

Коммуна не забыла Ролана и отметила его в числе своих жертв. 31 мая, когда во всех концах Парижа ударили в набат и вооруженные толпы народа собирались на улицах, не зная еще, что случилось и кого надо бить, в половине шестого вечера шесть человек явились в министерство с приказом об аресте Ролана. Приказ был подписан революционным комитетом. Ролан сказал, что не признает этой власти и добровольно не подчинится ей, но что они могут взять его силой. Представители коммуны на этот раз были вежливы и объявили только, что доведут о его ответе, до сведения комитета.

Г-жа Ролан решила прибегнуть опять к тому средству, которое уже два раза было употреблено ею с таким успехом: обратиться с письмом в собрание представителей. Громадный успех ее двух первых писем, с доносом на короля в собрание и на парижскую чернь в сентябре, позволял ей надеяться, что и на этот раз результат будет тот же. «Написать письмо, показать его мужу и отправиться в собрание было делом нескольких минут, - говорит она. - Я села одна в фиакр и поехала в Тюльери. На мне был только утренний капот, сверх которого я накинула шаль и закрыла лицо вуалью». На дворе Тюльери была масса вооруженного народа. Она прошла через эту толпу, но все двери в залу собрания нашла закрытыми. Часовые не пропускали ее; никакие просьбы не помогали. Тогда она переменила тон и заговорила языком, которого не постыдился бы любой сторонник Робеспьера.

- Разве вы не знаете, граждане, что в такой день, когда отечество в опасности, когда со всех сторон оно окружено изменой, вы должны пропустить всякого, кто имеет сообщить собранию что-нибудь важное! Почему вы знаете, какой громадной важности может быть то письмо, которое я имею передать президенту!

После этих магических слов двери отворились и ее ввели в залу просителей. Там она нашла некоего Роза и просила провести ее в залу заседания или по крайней мере похлопотать о том, чтобы письмо ее было прочитано в этот же вечер. Он взял у нее письмо и ушел. Прошел целый час. Она в сильном волнении ходила взад и вперед, каждый раз с беспокойством оглядываясь, когда дверь в залу отворялась. Страшный гвалт слышался оттуда.

Роз вернулся, наконец, и объявил, что нет возможности добиться толку: в собрании шум невообразимый; у решетки стоят с прошениями и требуют ареста двадцати двух.

- Кто председательствует?

- Эро де Сешель.

- А! значит, мое письмо не будет прочитано. Приведите мне кого-нибудь из депутатов. Скажите Верньо, что мне нужно говорить с ним.

Прошло еще несколько времени. Явился Верньо и ничего утешительного не сказал ей.

- Если вас даже и допустят к решетке, к вам, может быть, будут снисходительны, как к женщине, но едва ли вы чего-нибудь добьетесь. Конвент сам теперь бессилен.

- Как бессилен! Да он в настоящую минуту все! - воскликнула она с негодованием. - Весь Париж ждет от него указания, как ему поступить. Если меня допустят, я скажу то, чего вы как депутат не можете сказать, не подвергаясь опасности. Я ничего на свете не боюсь и если не спасу мужа, то по крайней мере заставлю их выслушать всю правду.

Чувствуя как гнев и негодование овладевают ею и как красноречива она может быть в эту минуту, она рвалась в собрание, чтобы сказать ему речь. Вместе со всеми жирондистами она думала, что дар слова такое оружие, против которого устоять невозможно, что ее грозная речь заглушит набат и покроет шум мятежа.

Верньо постарался убедить ее, что раньше полутора часов ее письма не прочтут, что прежде будет обсуждаться какой-то декрет, да кроме того масса петиционеров стоит у решетки. Тогда она решилась съездить домой, узнать, что там делается и потом вернуться опять.

Дорогой ее остановили войска; ехать дальше не было возможности. Она выскочила из фиакра и пошла пешком. Пока она отыскиала, мужа, который скрывался у знакомых, переговорила с ним и поехала назад, был уже одиннадцатый час. По пустынным, хотя и освещенным улицам добралась она до карусельской площади. Но там все уже было тихо и на месте вооруженной, шумевшей толпы, стояли только две пушки и

несколько часовых. Двери собрания были заперты, заседание закрыто. Нельзя представить себе ее гнева и отчаяния.

«Как! - говорит она, - в день восстания, когда с утра бьет набат, когда за два часа перед этим 40 тысячная вооруженная толпа окружала конвент и депутаты от разных кварталов ворвались силою в залу заседания, они решились закрыть заседание!»

Очевидно, что конвент сам был бессилён, и власть перешла в руки парижской коммуны. Не зная, что делать, от кого узнать, что случилось, она искала глазами, с кем бы ей заговорить. У пушки стояло на часах несколько санкюлотов; она спросила их, что тут произошло.

- О! отличная вещь! Они обнимались и пели марсельезу, вон там, под деревом свободы.

Она вступила с ними в политический разговор и заметила, что неизвестно еще, как посмотрят на это департаменты и что не мешало бы спросить сначала их мнения.

- Зачем? - возразили они ей. - Разве 10 августа спрашивали их! Разве они не согласились со всем, что сделал Париж? То же будет и теперь.

Ответ был жесток по своей справедливости. Слишком поздно заговорили о департаментах! Если умели обходиться без них прежде, к чему было призывать их теперь?

В ту же ночь г-жа Ролан была арестована. Мужа ее не нашли; он скрылся; а она, считая себя в безопасности, вернулась домой. Даже арест не испугал ее; она была уверена, что никаких последствий это иметь не может. Она еще надеялась на торжество жирондистов и на то, что провинция придет к ним на помощь. Она преувеличивала силы департаментов и бесконечно умаляла значение Парижа. Что такое был Париж в ее глазах? Одна восемь-десять третья часть Франции. Арифметический расчет говорил ей, что 82 департамента должны победить 83-й. Расчет неверный, в чем она сама должна была скоро убедиться.

Только что она вернулась домой в эту ночь и села за стол, чтобы писать к мужу, как кто-то постучал в дверь. Было около 12 часов. Явилась целая депутация от коммуны с вопросом, где Ролан. Узнав, что его нет, она очень недовольная удалилась, но у дверей оставила часового. Г-жа Ролан поняла, что надо

приготовиться к всему, спросила себе поужинать, dokonчила письмо к мужу и легла спать. Страшно утомленная, она моментально заснула; через час ее разбудили и сказали, что ее желают видеть какие-то господа. Она наскоро оделась и вышла к ним. Ей объявили, что пришли арестовать ее и опечатать все ее вещи; при этом показали ей не один, а даже два приказа об аресте. Она с минуту колебалась, перебирал в уме все, что могло бы ей служить оправданием к открытому сопротивлению. Ночные аресты, как ей было известно, были запрещены законом. В случае, если бы стали ссылаться на другой закон, который давал право коммуне хватать подозрительных лиц, она могла оспаривать самую законность коммуны. Но это было опасно! власть эту признавал Париж и сопротивляться ей было бесполезно.

Она покорилась. Послали за судебными властями, опечатали все ее вещи, шкафы, даже окна и даже фортепиано. Ей оставили только платья ее дочери и небольшой узелок с бельем. Во время этой процедуры в дом набралось много посторонних зрителей и от пятидесяти до ста человек разгуливали по комнатам. Воздух сперся, духота была невыносимая, но никто не смел удалить толпу. В 7 ч. утра она простилась с дочерью и с прислугой и спокойно вышла на улицу, где среди выстроившихся шпалерами солдат, дошла до фиакра. На улице толпился народ и женщины кричали ей: «На гильотину!» Она смело, не поднимая окон, проехала среди этой толпы, которая несколько месяцев спустя точно так же провожала ее на эшафот. Дорогой она нисколько напыщенным, хотя и смелым языком говорила с провожавшими ее комиссарами и сама должна была сознаться, что они почти не поняли ее. В тюрьму она вошла спокойно. Тюрьма была для нее отдыхом после политических бурь и семейной жизни. Она давно уже не любила мужа и всей душой принадлежала другому. Быть наедине с собой значило быть с тем, к кому постоянно стремилась ее мысль. Поддерживать и утешать мужа, которому в это время было за шестьдесят, становилось ей не под силу. Она вошла в тюрьму, как другой вошел бы в монастырь, чтобы отдохнуть душой. Пока муж ее был министром, служебные интриги, борьба партии и жажда власти отодвигали родину на задний план. Запертая в стенах Аббатства, она вспомнила о ней

опять. Мысль об этой погибающей родине поддерживала ее в последние минуты жизни. В ней вновь проснулись чувства молодости, то чувство, с каким она читала когда-то истории Гракхов и древних Афин. Она опять принялась за своего Плутарха и за свои любимые книги.

В первый же день заключения она написана в конвент, тщетно взывая о справедливости. Ей хотелось, чтобы голос ее был услышан, если не для того, чтобы убедить конвент, который был уже совершенно бессилён, то хоть для того, чтоб ее услышала провинция. Прошло несколько дней. Она ждала, что ее позовут к допросу, но допроса не было. Приходили только разные господа из полиции и еще откуда-то; все они своим грязным, растрепанным видом внушали ей отвращение. Какая разница с теми, кого она привыкла видеть в своих салонах! Революция выдвинула новых деятелей. Один из них вступил с ней в разговор и спросил ее, довольна ли она своим помещением и не скучает ли она.

- Скука, - ответила она ему, - болезнь людей с пустой головой и такой же пустой душой. Я не скучаю, но я протестую против несправедливости, с какой меня заперли здесь и требую, чтобы меня выпустили.

- Да, но во время революции столько дела, что нельзя за всем усмотреть.

- Подобный этому ответ дал один король женщине, которая просила у него правосудия. На это она сказала ему: «Если у тебя нет времени оказать мне правосудие, у тебя нет времени быть королем». Смотрите, чтоб и вам не сказали то же.

Время шло, допроса все не было. Г-жа Ролан с нетерпением ждала, чем все это кончится. Когда она прочла декрет об аресте двадцати двух, газета выпала у нее из рук, и она с отчаянием воскликнула:

- Моя родина погибла!

С арестом этих людей, этих лучших представителей жирондизма, ее партия погибла. Вся надежда была на тех, которые успели бежать в провинции, чтобы посеять в ней идею о федеральной республике. Но в Париже слово «федералист» было равносильно слову «роялист»: оно вело на эшафот.

После неудачной попытки обратиться с письмом в конвент (письма этого не стали читать), г-жа Ролан писала к министрам, напоминая им их обязанность посещать тюрьмы и выпускать оттуда всех невинно заключенных; к редактору одной газеты и, наконец, к самому Робеспьеру⁷⁾:

«Вы хорошо поймете, - так начинала она, - что я пишу к вам не для того, чтобы о чем-нибудь просить вас. Я никогда никого не просила, а тем менее способна на это теперь. Просить могут только или виновные или рабы. А я... не хочу даже жаловаться. Но каким образом я, женщина, могу быть замешана в политические бури и какая судьба меня ожидает? - вот два вопроса, которые я вам предлагаю! Они важны не по отношению ко мне лично. Что за дело до того, что погибнет одна лишняя песчинка, одно лишнее существо в общей гармонии миров. Вопросы эти важны по отношению к свобод и к счастью моей родины...»

В таком духе было все письмо. Оно было очень естественно со стороны человека, который, погибая сам, думал, что с ним вместе погибает весь мир, но в нем был между прочим намек на королеву, не делавший чести сердцу г-жи Ролан. Мы уже упоминали как она возмущалась тем, что она, женщина строгих нравов, была поставлена на одну доску с преступной и ветреной австрийкой. Дух нетерпимости не оставлял ее даже и тут. Она не могла без негодования говорить о своих товарищах по заключению, среди которых были и публичные женщины и взятые с улицы преступники. Аристократ и санкюлот были ей одинаково ненавистны. Несмотря на ее заявление, что жаловаться она не будет, мы видим однако в письме жалобу на то, что она во всем нуждается и, не зная где достать денег, хотела продать пустые бутылки из своего погреба; но это подняло целую историю, дом окружили и арестовали хозяина. В тюрьме ей пришлось испытать на себе последствия одного из неудачных распоряжений своего мужа. В бытность свою министром он уменьшил с пяти франков на два сумму, отпускавшуюся ежедневно на содержание заключенных. За вычетом 20 су в пользу консьержа, на остальные 20 су нужно было не только пить, есть и одеваться, но и платить за отопление, да еще при тогдашней дороговизне, когда цены на все поднялись втрое. Сначала не платили по крайней мере за

стены, но потом и за комнату в тюрьме надо было платить, как за номер в гостинице от 15 до 30 франков в месяц, смотря по тому, была ли в ней одна или две постели. За то стали отпускать по 12 фунта хлеба и по одной порции бобов на человека.

Г-жа Ролан, хотя и сильная духом, не могла, однако, переносить физических лишений и платила отдельно за обед. Обед был скромный, но все же масса заключенных не имела даже и того, и это подало повод впоследствии обвинять ее в том, что она пиновала, когда другие голодали. Кроме отдельного стола, она пользовалась и другими удобствами; так, одна из заключенных за деньги убирала ей комнату, а потом консьерж поместил ее у себя, где она была окружена некоторым комфортом и имела под рукой не только книги, но даже и фортепиано. Из ее слов не видно, чтобы ей когда-нибудь пришло на мысль, что ее привилегированное положение может возбудить такую же зависть и негодование в других, какое когда-то внушали ей аристократы с их ненавистными привилегиями. Было ли этому причиной сознание, что она страдает невинно, когда другие несут заслуженную кару, или просто известный взгляд на вещи, но она не считала своим долгом есть с общего стола и нести на себе общую тягость.

Х

Допрос. - Освобождение и вторичный арест. - Новая тюрьма и ее нравы. - Последняя любовь г-жи Ролан. - Ее переписка с Бюзо. - Ее отзывы о политике. - Несбывшиеся надежды. - Последняя борьба. - Мысль о самоубийстве. - Суд и казнь.

Нужно, однако, сознаться, что она до последних минут сохранила замечательное присутствие духа. Она жила в тюрьме, как можно было жить где-нибудь у себя в имени, так же читала Плутарха и Тацита, занималась музыкой и писала к друзьям. Она осталась верна себе во всем, даже в своем желании нравиться, не покидавшем ее до последних минут. И в те дни, когда никто не был уверен, что доживет до вечера, она находила время заниматься своим туалетом, всегда быть изящно причесанной и красиво одетой: белое кисейное платье с кружевами и с черным бархатом и кокетливый чепчик на распущенных волосах были ее обычным нарядом.

Недели через две после того, как ее арестовали, она была приведена к допросу. Но это была пустая формальность, совершенно лишняя для людей, которые говорят, что заговорщики никогда не оставляют вещественных доказательств своего преступления и что потому отсутствие таких доказательств уже само по себе есть важная улика против них, когда Эбер в своей газете приглашал поторопиться и не терять много времени на то, чтобы укоротить на целую голову подлецов, изменивших своему отечеству! На допросах г-жа Ролан держала себя с достоинством, но своими пространными ответами выводила из терпения демократов, любивших во всем краткость и быстроту.

В конце дня ей пришли объявить, что она свободна. Она имела несчастье поверить этому и поехала домой. Но не успела она подняться на лестницу, как к ней подошли двое каких-то людей и объявили ей, что она снова арестована. К чему сыграли с ней эту жестокую комедию, она не могла узнать. Впоследствии ей стало только известно, что почти в ту же минуту, как ее выпустили из тюрьмы, на ее место привели туда Бриссо и что может быть нежелание, чтоб они встретились и заставило так поспешно удалить ее оттуда. Несколько позднее та же комната была занята знаменитой Шарлоттой Корде.

Новая тюрьма, в которую ее заперли, Сент-Пелажи, находилась в самом бедном и самом буйном квартале Парижа. Нравы ее обитателей, большею частью вышедших из народа, отличались дикостью и не представляли ничего утешительного для нее. Вот тут-то она и прибегла к покровительству консьержа, чтобы укрыться там среди цветов и книг от близости с этим народом, который когда-то представлялся ей таким несчастным и задавленным. Чтобы не дать отчаянию овладеть собой, она старалась не сидеть без дела. В этой тюрьме были написаны ее мемуары. Отсюда же она продолжала свою переписку с Бюзо, этой последней любовью своей.

Бюзо уехал в провинцию в надежде поднять ее, собрать там армию и двинуть ее против Парижа. Г-жа Ролан из тюрьмы благословляла его на это, старалась поднять его дух и дать ему надежды, которыми жила сама. Все ее письма дышат энергией и все ее усилия направлены к тому, чтобы отговорить его от безумной попытки освободить ее. «Я боюсь только одного,

говорит она, чтобы ты не вздумал спасать меня. Спасая Францию, ты спасешь и меня!» Она старается убедить его, что могла бы это сделать и без него, что уйти вовсе не так трудно, но она сама не хочет этого, чтобы не погубить других и не подводить под ответственность тюремных сторожей. «Могу ли я бежать, когда я знаю, что это будет торжеством моих врагов. Бежать, значить скрываться и каждую минуту дрожать за свою жизнь. Не лучше ли остаться и ждать, чтобы самый ход событий привел к моему освобождению? Это иначе и не может быть. Это вопрос времени, не больше... Если даже и поведут меня на суд, что за беда! Я это предвидела и сумею обратить это на пользу общую... Не думаю, чтобы им удалось погубить меня!»

Она рисует ему свою жизнь в тюрьме гораздо лучше, чем она была в действительности. Никакие решетки и задвижки не могут заковать ее мысли. Мысль ее свободна и так часто летит к нему! Но спокойствие и равнодушие к своей судьбе сменяется гневом всякий раз, как она заговорит о политике. Она не может равнодушно говорить о конвенте, за которым не признает никаких прав. «В Париже теперь нет властей! - говорит она. - То, что называется еще конвентом, представляем шайку разбойников, которые ругаются, как извозчики, проповедуют убийство и сами подают сигнал к грабежу... На развалинах старого порядка возник новый во сто раз ужасней прежнего... Платон был прав, сравнивая демократию с аукционом, на котором продаются всевозможные формы правления».

Убеждая его щадить себя, она ставит ему на вид, как мало людей, способных стоять во главе движения и как они должны беречь себя. Сражаться в рядах простых солдат кажется ей преступлением со стороны того, кто должен руководить движением. Пусть каждый остается там, где он может принести наибольшую пользу! Она ждет той минуты, когда двинется провинция, когда федеральные войска пойдут освобождать Париж, и народ выйдет к ним с расprostертыми объятиями. Та же легкость и пылкость воображения, с какой она делила когда то карту Франции у себя в салоне, рисовала ей и теперь положение вещей в каком то фантастическом свете. «Нет ничего легче, как поднять народ. Юг отлично настроен. Прежде довольно было бы шести тысяч человек, чтобы переменить

правительство в Париже. Теперь нужно больше». Она подает советы Бюзо, что нужно сделать: захватить в свои руки почту, распространять в народе полезные брошюры и обеспечить его продовольствие. Она боится только одного, чтобы опять в их партии не взяли верх люди, которые мечтают, когда надо действовать. «Rever le bien public!»⁸⁾ - горькая фраза эта невольно срывается у нее с языка, когда она заговорит о своих. Она начинает понимать, что деятелей нет среди них; что роль их сыграна: они ударили в набат и ушли, а на звуки этого набата сбежались другие...

В письмах к Бюзо она упоминает о своей дочери, тогда уже 12-летней девочке, которую взяло на свое попечение одно хорошее семейство, и о своем муже. В отзывах о муже слышится какая-то смесь жалости и презрения. Что иное мог ей внушить этот человек, бежавший от опасности и влачивший где-то в провинции свою жалкую жизнь! Свобода уже потому не манит ее, что быть свободной для нее значило опять жить с этим человеком. В тюрьме она ближе к Бюзо, чем была бы на свободе. «Многие удивляются моему спокойствию, - пишет она ему, - но никто не знает моих наслаждений. Ты один должен понимать их».

Чем ближе к развязке, тем тревожнее делается тон ее писем. Жажда личного счастья, то уступает порывам патриотизма. то опять берет над ними верх. В одном месте она говорит Бюзо: «Стоит ли думать о том, что ждет меня! Думай прежде всего о твоей родине. Все остальное придет впоследствии». Но потом страсть берет верх и она с отчаянием признается, что если дела пойдут все так же дурно и никакой надежды не будет, она готова согласиться на его планы бегства. Она просит только об одном - рассчитать все планы и как можно спокойнее действовать. Этим последним воплем отчаяния оканчивается дошедшая до нас переписка их. В июле она написала ему это письмо, в ноябре она взошла на эшафот.

В этот промежуток времени у нее была минута страшной борьбы. Ждать ли казни или покончить с собой раньше? Пока она надеялась, что ее процесс наделает шуму в Париже и послужит столько же к ее славе, сколько и общему делу, она с нетерпением ждала его. Но когда она убедилась, что никакого

процесса не будет, а будет одна формальность, чтобы придать вид законности уже заранее составленному приговору, мысль о самоубийстве стала все чаще мелькать у нее. «Два месяца тому назад я добивалась чести взойти на эшафот; тогда могли еще оценить мой подвиг, могли говорить о нем. Теперь все потеряно...»

Она пишет даже, что-то вроде исповеди, где обращается к близким, к мужу, дочери, друзьям и просит простить ее... Не называя по имени Бюзо, она обращается и к нему и тут высказывает положительную надежду на то, что они должны встретиться в другом, лучшем мире. Эта вновь вспыхнувшая в ней вера в загробную жизнь переходит у нее в какой-то экстаз. Она просит своего возлюбленного не допускать, чтобы чужая рука посягнула на него и самому прекратить свое существование, если другого исхода нет.

В день казни Бриссо ее перевели в третью и самую страшную тюрьму Консьержери, где никто долго не засиживался. Это была последняя станция перед эшафотом. Семь-восемь дней и все было кончено! суд и гильотина ждали в один день.

Последние слова ее, написанные за несколько дней до ее смерти, обращены к ее судьям. Но в них есть одна фраза, обращенная к иному судье: «Боже праведный, просвети этот несчастный народ, которому я так желала свободы!»

Суд, как и следовало ожидать, был пустой комедией. Подсудимой не дали говорить, устроили для виду прения, где единственный свидетель, дававший показания в ее пользу, поплатился за это жизнью, и тут же прочли ей смертный приговор.

В день казни она была спокойна и даже весела. Она шла как на праздник, вся в белом, с распущенными волосами. В пятом часу вечера ее вывезли из тюрьмы. Как и в день ее ареста, народ всю дорогу кричал: «на гильотину!» Особенно неистовствовали женщины, грозившие ей кулаком. Она ехала стоя и с печальной улыбкой смотрела на толпу; глаза ее горели, лицо тоже. Даже вид эшафота не заставил ее побледнеть. Тележка остановилась у самой лестницы, короткой и крутой, которая вела на платформу. Когда ее ввели на эшафот и стали привязывать к доске, глаза ее случайно упали на громадную статую свободы, воздвигнутую во

время празднеств 10-го августа, и тут-то она сказала свои знаменитые слова:

- Свобода! сколько преступлений совершается твоим именем!

Любители зрелищ, присутствовавшие при этой казни, должны были сознаться, что жирондисты умели умирать.

Но героизм на эшафоте не был редкостью в то время. История указывает на удивительные примеры того, какую притягательную силу имела гильотина и как мания самоубийства овладевала людьми, которые каждый день приходили смотреть на нее. Были такие любители зрелищ, которые не пропускали ни одного и кончали тем, что сами клали голову под нож гильотины. Вид смерти опьянял их, с ними делалось головокружение, что-то вроде того, что испытывает человек, когда с вышины смотрит вниз. Умереть в такую минуту не трудно, но умереть красиво умел не всякий. А жирондисты умели это делать и знали, что сказать на прощанье жадному до фразы Парижу. Умирала и Шарлота Корде, и Людовик XVI, и все с одинаковым мужеством. Мужество никого не удивляло! Но сказать с эшафота народу: «Революция, как Сатурн, пожирает своих детей!» - или что-нибудь подобное, на это был способен только жирондист.

Примечания автора

¹⁾ Memoires de m-me Roland, стр.45.

²⁾ Там же, стр.280.

³⁾ Там же, стр.202.

⁴⁾ Там же, стр.392.

⁵⁾ Если заблудшие братья сознают свою ошибку, пусть придут ко мне, мои объятия им открыты.

⁶⁾ Я преклонился перед 10-м августа, и содрогнулся 2-го сентября.

⁷⁾ Письмо не было отправлено.

⁸⁾ Мечтать об общественном благе.



Галина Иосифовна Серебрякова

М А Д А М Т А Л Ь Е Н

По изданию:

Г.Серебрякова. Женщины эпохи Французской революции

Веб-публикация: Марта, М.Воронин, Vive Liberta, 2004

Два мускулистых носильщика осторожно опустили у мраморной лестницы золоченый портшез. Лакей, бежавший всю дорогу позади носилок, поспешил раздвинуть пурпурные занавески и уступил место аристократическому франту в белых атласных туфлях и гладком парике, который помог маркизе Фонтене выйти. В королевском Версале праздник еще не начался, но плоский, подстриженный на английский манер парк уже иллюминирован. Ветер качает цветные фонари, и плутоватые тоненькие пастушки, барашки в локонах, телята в лентах, нарисованные на шелку и бумаге, пригибаются и оживают. Маркиза Фонтене, оправляя фижмы, прошла в полуосвещенную уборную, чтобы проверить прическу. Цветы, воткнутые в ее пышные, взбитые над лбом волосы, не блекли - стебельки их были погружены в узкие вазочки, невидимые в кудрях.

В это время в будуаре близлежащего Трианона французская королева тоже занята туалетом. Диана Полиньяк и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают Марии-Антуанетте пошленькие дворцовые сплетни, пока четыре парикмахера вот уже шестой час

подряд трудятся над королевской прической. Триста второй локон на затылке упорно развивается, и парусная лодка, водруженная на взбитом «коке», грозит свалиться. Королеве надоело прикрывать лицо бумажным щитком, и пудра, которой в изобилии были посыпаны ее волосы, белой массой облепила лицо. В углу будуара суетится мадам Бертен, портниха королевы, раскладывая с помощью десяти горничных на затканном цветами диване бальное платье из тончайшего китайского шелка и лионского бархата. Покончив с платьем, мадам Бертен принимается за разборку двух дюжин круглых и продолговатых картонок, привезенных только что курьерами из Парижа. Она благоговейно вынимает носовые платки, на которых вогезскими кружевницами вышиты пасторальные картинки, ажурные чулки, пряжки на туфли, банты для корсажа, отбирая то, что сегодня понадобится Марии-Антуанетте.

Взрывы смеха, в ответ на кривлянье фавориток, затрудняли работу придворных парикмахеров, но королева не переносила скуки и требовала неустанных развлечений. Веселую беседу неожиданно прервала придворная дама. Поминутно приседая, она доложила, что на королевской ферме не все благополучно: желтая швейцарская телка, та самая, что носит розовый бант и фарфоровый колокольчик с миниатюрой Ватто, занемогла и не выходит из стойла. Огорченная Мария-Антуанетта вскочила с кресла, сбросила белый пеньюар и, выгнав парикмахеров, потребовала экипаж. Молоденький паж, дежурящий у двери, помчался за английским шарабаном и ветеринарным врачом. Парус лодки, прикрепленный к голове ее величества, отчаянно топорщилось ночного ветерка: королева отправилась на молочную ферму.

Двумя часами позже набеленная, нарумяненная Мария-Антуанетта под руку с королем открыла бал в зеркальной галерее Версальского дворца. Маркиза Фонтене, впервые появившаяся при дворе, дрожа от волнения, склонилась в особенно низком реверансе, завидя королеву, небрежно играющую веером. Когда «их величества» прошли, маркиза Фонтене поспешно выпрямилась и бросила гордый, чуть насмешливый, но благодарный взгляд в сторону своего титулованного супруга. Коротенькие атласные штанишки подчеркивали его

подагрические колени, живот прорывал тугий корсет, и обильные краски не скрывали дряблой кожи щек, свисающих, как у дряхлого бульдога, на воротник из валансьенских кружев. Когда маркиз говорил, в углах губ появлялась слюна, сползавшая, размывая белила, на подбородок, глаза его походили на грязные мокрые заплатки. Однако де Фонтене, не довольствуясь красавицей женой, рад был при случае и поволочиться. Маркиза Фонтене, впрочем, не претендовала на его верность, терпя мужа лишь как досадное приложение к титулу, гербу, знатному родству, которое он ей доставил.

«Кто эта брюнетка? Аппетитный кусочек», - сказал граф д'Артуа, щеголь, повеса и ничтожество, белотелой, пышногрудой рыбоглазой пожилой даме, точно сошедшей с рубенсовской картины. Учтивая придворная сплетница вытащила чесалку из-под корсажа, почесала оголенную спину и, разыскав глазами Фонтене, сказала презрительно: «Это выскочка, дочь мадридского банкира Кабаррюс и какой-то испанки. Отец недавно купил дочери в мужья нашего бедного разорившегося Фонтене... а маркиз был когда-то очень недурен, - мечтательно вздохнула дама. - Девчонка его уже принята ко двору... таковы времена. Деньги, все деньги, ваша светлость».

Лишь на следующий день счастливая маркиза Фонтене вернулась в Париж. Едва переодевшись, она поспешила в свой салон, где ее ждало немало блестящих посетителей. Маркизе не терпелось порассказать о том, что и она отныне, подобно заносчивым Лозен, Конти, Роган, принята во дворец.

Гостиная Терезы искусно принуждала к восхищению хозяйкой. На белом клавиатуре небрежно разбросаны ноты, - сентиментальные романсы, испанские песенки, с чувством и умением исполняемые маркизой; на мольберте начатый пейзаж - луга и стада; на затейливом диванчике - «Новая Элоиза», испещренная заметками; среди цветочных ваз забыто вышивание - пухлый амур, целящийся в беспечного пастушка.

Банкир Кабаррюс не раз похвалялся обожаемой дочерью. Маркиза Фонтене учена, как энциклопедисты, красотой пошла в мать, статную испанку, практичным умом - в отца, опытного дельца и спекулянта.

В шестнадцать лет Тереза, мечтая о титуле и придворных развлечениях (за исключением этого, у нее все было), охотно идет замуж за беззубого, безденежного аристократа. Вместе с родными она обсуждала выгоды такого брака и торопила с его оформлением, - де Фонтене для нее был неизбежной ступенькой к славе и соблазнительным приключением. Сделавшись маркизой, Тереза внимательно изучает двор и знать. Мадам де Ментенон, любовница и впоследствии жена Людовика XIV, не раз тревожила холодное и властолюбивое воображение дочери банкира. Но Людовик XVI, рыхлый, как сдоба, не замечал женщин. Тучный обжора, слабовольный, но упрямый дурак, он был лишь постоянной мишенью для насмешек, и Тереза, внутренне бесясь, поняла, что лавров королевской фаворитки ей не добыть. Двор не оправдал ее авантюристических надежд. Бесконечные балы, любовные интрижки, мало льстившие требовательному самолюбию Терезы, скоро приелись. Незадолго до революции маркиза де Фонтене, падкая на все модное, попробовала развлечь себя либерализмом, впрочем, не без корыстолюбивых побуждений. Ей хотелось приблизить отца, ловкого финансиста, к делам катастрофически нищающего королевства. В эту пору ее нередкими гостями были Лафайет, братья Ламет, жаждавшие конституции. Безвестный швейцарец Неккер на глазах Терезы приобрел влияние, а его дочь мадам де Сталь, далеко не такая красивая, как дочь господина Кабаррюс, прославилась, как умнейшая и талантливейшая женщина Франция. Вот достойные зависти образцы для Терезы. Планы и надежды эти, однако, разрушил 1789 год.

Революция повергла маркиза Фонтене в смертельный страх, и однажды ночью он, не в силах переносить далее боязни, решил бежать с родины. Тереза не могла сдержать веселого смеха, глядя на мужа, возбужденно шагавшего по нарядной спальне. У маркиза Фонтене не было зубов, и от страха у него дрожали только толстые, липкие губы, издавая при этом странный, шлепающий, как туфли, звук. Кутаясь в халат и теребя несколько волос на макушке, старик рисовал перед женой страшные картины будущего, когда «чернь» разграбит их поместья, сожжет дома и повесит господ на фонарях. Де Фонтене воспринял куплеты «Карманьолы», которые слышал на улице, как

предсказание для аристократов. Терезе, однако, беспокойная Франция, принесящая власть и славу таким людям, как Лафайет, Мирабо, Бальи, казалась занимательнее, нежели эмиграция и родная Испания, где предстояло жить с надоевшим мужем в безвестности изгнанников.

Де Фонтене, жалкий, будто струсившая облезлая мышь, переодетый простолюдином, перебрался за границу. Тереза предприняла первую попытку выступить на политическом поприще. Она назвалась малоизвестной фамилией отца - Кабаррюс - и, отрекаясь от мужа, объявила, что «старый, развратный тиран, аристократ» покинул ее и бежал к контрреволюционерам. Свои собственные убеждения она изложила в петиции, прочитанной ею в Конвенте. Эта петиция была проникнута напыщенностью, фальшью и умеренностью.

«Граждане представители народа, - взывала Тереза Кабаррюс, - так как нравственность более чем когда-либо является предметом ваших великих совещаний, так как каждая из партий, которую вы побеждаете, все с новой силой приводит вас к столь плодотворной истине, что добродетель является жизненным содержанием республик и что добрые нравы должны сохранять то, что создано народными учреждениями, то не следует ли думать, что ваши глаза с великим интересом обратятся на ту часть человеческого рода, которая имеет столь большое значение. Горе женщинам, которые, игнорируя прекрасное назначение, к которому они призваны, будут лицемерно высказывать бессмысленное желание присвоить себе преимущества мужчин, чтобы освободить себя от своих собственных обязанностей. Они лишаются таким образом добродетелей своего пола и не в состоянии приобрести добродетелей другой половины человечества.

Было бы справедливо, чтобы во имя природы женщинам разрешили пользоваться теми же политическими правами, которые дают жизнь всем важным решениям и социальным планам.

В республике все, конечно, должно быть республиканским, и ни одно существо, обладающее здравым смыслом, не может, не покрывая себя позором, отказаться от служения отечеству. Вы, наверное, разрешите женщинам занимать должности в области

народного просвещения, так как они ведь не помирятся с тем, что с ними не считаются, когда речь идет об уходе за детьми и особенно о воспитании детей, не имеющих матери.

С чем, однако, я сегодня предстала перед вами, полная величайшего доверия? Я требую почетного преимущества: чтоб женщин призвали во все священные убежища несчастья и страданий, чтобы доставить утешение и заботливый уход всем, достойным сожаления. Мне кажется, что эти учреждения являются самым подходящим местом для девушек в годы их учения, прежде чем они становятся женами. Повелите же, народные представители, - мы заклинаем вас, - чтобы все молодые девушки должны были проводить известное время в приютах бедности и страданий, должны были оказывать помощь несчастным и упражняться в тех добродетелях, которых общество имеет право требовать от них.

Граждане народные представители, та, которая в эту минуту преклоняет перед вами свой ум, свои самые искренние чувства, еще молода, ей двадцать лет. Она мать, но уже не супруга. Все ее стремление, все ее счастье - иметь возможность одной из первых предаться этой чудной, восхитительной деятельности.

Соблаговолите с интересом принять это горячее пожелание, и да станет оно благодаря вам желанием всей Франции».

Конвент равнодушно выслушал этот адрес.

Париж привык к подобным заявлениям и не интересовался бывшей маркизой. Эта неудача отпугнула избалованную, самоуверенную искательницу приключений, у которой был изрядный запас наглости, но отсутствовало мужество. Добрые патриоты ей инстинктивно не доверяли. Друг Терезы - Лафайет - позорно сошел с исторической сцены, Мирабо умер, но подготавливающееся предательство его обнаружилось; началась свирепая борьба с монархистами. Тереза Кабаррюс увидела, что революция не заманчивое приключение, много обещающее женскому тщеславию. Маркиз Фонтене, ее отец граф Кабаррюс были далеко, оставшиеся припрятанные драгоценности и деньги подходили к концу. На границе Франции сражались революционные армии, бежать было опасно. Струсившую Терезу поглотила одна мучительная мысль - как бы уцелеть, любой ценой сохранить жизнь.

В 1793 году она уезжает в Бордо, надеясь пробраться к испанской границе, с помощью отца покинуть Францию. Революция не оправдала ее надежд!

Желая отвести от себя естественные подозрения, бывшая маркиза старается участвовать в общественной жизни Бордо. Наиболее невинной и безопасной кажется ей педагогическая деятельность. Она составляет для одного из братских обществ доклад «О воспитании», предлагая ввести обязательное обучение в школах. Изучив историю Спарты и Афин, Тереза толково и занимательно, приводя исторические примеры, доказывает пользу физических упражнений в школах. Ее доклад имеет заслуженный успех - дочь банкира Кабаррюс действительно способная женщина. Недаром ее отец спокоен, считая, что дочь не пропадет... даже «при господстве черни».

Патриоты Бордо хоть и чуждались бывшей аристократки, но отдавали дань ее величественной красоте. В дни революционных праздников именно гражданка Кабаррюс приглашена изображать аллегорическую Свободу. Комиссар Конвента Тальен не отрывает глаз от бывшей маркизы, медленно шествующей в белой тунике, с распущенной черной косой, вскинув патетически руки, впереди праздничной революционной толпы. Тереза Кабаррюс улавливает и оценивает это восхищение. Тальен ей безразличен, но необходим. В Бордо его власть, власть доверенного представителя Конвента, безгранична. Маркиза Фонтене, отбившаяся от «своих» эмигрантов и контрреволюционеров, тщетно пытавшаяся примазаться и развлечься революцией, слишком трусливая, чтобы стать потом открытым ее врагом, обрадовалась неожиданному поклоннику, как спасенью, как возможности не бояться отныне стука в дверь ночью, в час обычных арестов поры террора.

Не прошло и месяца, как гражданка Кабаррюс приобрела прежнюю самоуверенность, при случае подчеркивая дружбу с самим Тальеном. Терезе повезло, комиссар Конвента не был ни проницателен, ни настолько предан революции, чтобы не делать больших и малых подлостей. Это был чрезвычайно честолюбивый карьерист, легко поддающийся чужому влиянию, трусливый, мстительный, стремящийся «хорошо пожить», случайный чиновник революции. Бесконтрольная власть в провинции

окончательно его изуродовала. Тереза Кабаррюс знала людей и умела использовать их недостатки. Тальен делал все, что она хотела. Тереза ловко вмешивается в дела своего «друга», главным образом ходатайствуя об уцелевших сомнительных знакомых.

По прошествии нескольких месяцев в Париже стали известны темные делишки, творящиеся в Бордо. Желая оправдаться, Тальен попытался изобразить революционную ретивость: усилил террор, надеясь расправой с «подозрительными» доказать свою преданность Конвенту. Но Робеспьера и Комитет общественного спасенья трудно было обмануть. В Париже, куда Тереза уехала вслед за вызванным в столицу Тальеном, ее арестовали. «Неподкупный» приписывал главным образом влиянию бывшей маркизы недопустимые поступки Тальена.

В тюрьме Ла-Форс Терезе Кабаррюс отвели одиночную камеру, лишенную всякой обстановки, кроме соломенного матраца, из которого, жестоко царапаясь, вырывались сухие стебли. Тюремный режим был очень строг, никакие уловки, попытки подкупа и притворства заключенной не действовали на тюремную администрацию. Тереза в бешенстве металась по темнице, осыпая Тальена мало льстящими ему эпитетами. Ах, если бы только повидать его и воспользоваться своей над ним властью. Бездеятельность воскрешала перед молодой испанкой прошлое. В сущности, отчего против нее так ополчились, недоумевала она. Никогда дочь финансиста, бывшая маркиза, не стремилась всерьез играть политическую роль. Ее принцип был любить, веселиться, «быть могущественной повелительницей, но не соперницей мужчин». Разве красота с детства не обеспечивала ей этого? В Бордо через Тальена она спасала от эшафота тех, кто когда-то украшал ее салон, кто приятно волновал ее лестью и восхищением, танцевал с нею на балах в Версале, присылал по утрам зимой корзины васильков, лютиков, ромашек. Какое дело Терезе до того, что теперь эти люди - шпионы Питта, враги революции. Маркиз де Паруа говорил маркизе Фонтене когда-то: «Ваши таланты всеобъемлющи, ваша доброта превосходит их, но ничто не может сравниться с вашей красотой». Такой изысканный комплимент, по мнению гражданки

Кабаррюс, заслуживал того, чтобы автор был спасен от эшафота. Конечно, Тереза любила наряды, танцы - все, что украшало и делало ее красоту неотразимой. Если революция лишила Фонтене богатства, то что же плохого в том, что Тальен отчасти возмещал потерянное, исполняя прихоти возлюбленной, хотя бы даже компрометируя тем себя и Конвент.

По прошествии недели режим арестованной изменялся. Она получила возможность гулять по мощеному тюремному дворику. Тальен не забывал своей «жены», как он стал называть Терезу, хлопоча об ее освобождении; из окна расположенного напротив тюрьмы дома, где мать его для этой цели наняла комнату, он мог видеть Терезу и знаками переговариваться с узницей. Ему удалось наладить также кой-какую переписку с ней.

В тюрьме Ла-Форс заключенные не засиживались. Пропускная способность гильотины повышалась день ото дня. Крепкий палач Сансон едва управлялся с работой и жаловался на то, что не успевает пообедать, а детей своих не видит вовсе, уходя из дому поутру и возвращаясь ночью. Тереза понимала, что медлить нельзя, каждый наступающий день грозил ей смертью, - она старалась вселить в Тальена мужество и, считая виновником своего ареста Робеспьера, внушала ему мысль расправы с ним.

В Конвенте в летние дни 1794 года выжидательно шушукались многочисленные недовольные. Тощий скептик, фанатический атеист Вадье, член Комитета общественной безопасности, потихоньку распространял компрометирующие Робеспьера слухи о мистицизме «неподкупного», желавшего будто бы возродить религию с помощью невежественной полоумной старушки, пророчицы Екатерины Тео, прозванной поклонниками «матерью божьей». Подозрительный и помнящий мелкие обиды Вадье давно учредил слежку за Робеспьером, не предполагая, впрочем, что и Максимилиан в свою очередь следил за ним. Взяточники и шкурники, будущие деятели директории Баррас и Фрерон, опасавшиеся за целостность своих голов, мечтали о том, чтобы низвергнуть безупречный триумвират - Робеспьера, Кутона и Сен-Жюста.

Поведение «неподкупного» было выжидательным по тактическим соображениям. Вместо того чтобы, как хотели некоторые робеспьеристы, решительно перейти в наступление на

проворовавшихся интриганов и опасных заговорщиков, отправив их по заслугам на эшафот, Максимилиан медлил и ограничивался лишь волнующими всех депутатов намеками, без прямых указаний, кто же виновные. Настроение страны и Парижа не обещало поддержки последовательным якобинским революционерам. Наиболее левые элементы городского населения, лишенные вождей, казненных весной 1794 года, озлобились против робеспьеристов, недовольная налогами и притеснениями, крупная буржуазия оплакивала жирондистов, в парижских секциях Коммуны развивалось пагубное равнодушие и неверие. Разбогатевший на революции жулик, мот, политический интриган Баррас один из первых попытался не без успеха повести тайную агитацию за свержение «тирана Робеспьера» среди членов «болота», которое было решающей, но дремлющей силой Конвента. Зорким глазом он определял своих союзников в среде депутатов. Тальен был отмечен одним из первых.

Бывший комиссар Конвента являл собой в первых числах термидора жалкое зрелище. Любовь и боязнь бросали его от одного настроения к другому. Он ненавидел Робеспьера тем более сильно, что боялся его. Баррас без труда выяснил все касавшееся Тальена и Кабаррюс, сообразив, на что способен в качестве заговорщика этот обезумевший от страсти трус. Желая заставить Тальена действовать, Баррас убедил его, что Тереза будет казнена не позже 10-12 термидора. За кружкой вина он посвятил Тальена в план низложения Робеспьера, уверив его, что на стороне заговорщиков большинство Конвента.

Седьмого термидора Тальен получил письмо от Терезы, которое окончательно разрубило ниточку его колебаний.

«Только что от меня ушел полицейский комиссар. Он пришел известить меня, что завтра я должна буду предстать перед революционным трибуналом, то есть пойти на эшафот. Это мало походит на тот сон, который мне приснился сегодня ночью: Робеспьер будто бы перестал существовать, и двери тюрьмы открылись. Но благодаря исключительной трусости французов во Франции скоро не будет человека, способного осуществить мой сон».

Баррас, Фрерон, Вадье, Колло д'Эрбуа и Тальен, главари подготавливаемого переворота, ждали заседания Конвента 9

термидора, как дня решения их участи. Накануне 9 термидора Тальену удалось бросить во двор тюрьмы, где гуляла Тереза, записочку следующего содержания:

«Милостивая государыня, будьте столь же осторожны, как я буду мужествен, и думайте о том, чтобы вернуть себе спокойствие духа».

Утром 9 термидора Тальен с решимостью самоубийцы (он мало верил в успех термидорианской затеи) осмотрел кинжал, который согласно разработанному заранее плану должен был выхватить из-за пояса во время своей речи в Конвенте, угрожая заколоть Робеспьера; подумав «для бодрости» о Терезе, он содрогнулся при мысли, что ее восхитительная голова может оказаться в сырой корзине Сансона. В Конвенте Баррас, как всегда, свежевыбритый и одетый нарядно, послал ему одобряющий взгляд, хотя сам едва сдерживал дрожь в коленях. Спокойным казался лишь сухопарый Вадье, прогуливавшийся будто без цели среди скамей депутатов.

Разыгравшаяся в Конвенте трагедия превзошла ожидания термидорианцев - «болото» всколыхнулось и погубило «неподкупного». Тальен «был подобен богу», по мнению Барраса, когда потрясал гораздо лучше, чем дома, во время репетиции, своим новеньким кинжальчиком, рыча: «Смерть тирану».

Десятого термидора, в час смерти Робеспьера, Тереза Кабаррюс вышла из тюрьмы Ла-Форс. Влюбленный Тальен, «герой дня», вместе с галантным Баррасом и толпой вынырнувших из подполья приверженцев «нового режима» приветствовали бывшую маркизу Фонтене у ворот тюрьмы. Любезные термидорианцы, очарованные Терезой, твердили наперебой, что именно ей страна обязана «освобождением». Это она вдохновила Тальена на подвиг. Какой-то светский повеса назвал красавицу «богородицей Термидора», и прозвище это стало неотъемлемым титулом молодой госпожи Тальен (Тереза поспешила обвенчаться с Тальеном в Париже).

Наступили «золотые дни» в жизни Терезы. Директория, вернее директора, и галантные поклонники госпожи Тальен короновали ее царицей красоты, изящества, мод. Перед «избушкой», как называла Тереза свой нарядный особнячок в Шайо, до самых пустынных тогда Елисейских полей каждый

вечер растягивались кареты, кабриолеты, шарабаны. «Золотая молодежь», богатые легкомысленные женщины, жаждущие, как и Тереза, веселья после «тяжелого поста - революции», дельцы, политики, правители стремятся побывать в салоне Тальен, -

одни, чтобы порисоваться туалетами, пофлиртовать и потанцевать, другие, чтобы устроить дела, повидать «нужных людей». Госпожа Тальен, конечно, ни в чем не превзойдена, никто не может равняться с ней в изысканности, оригинальности и смелости туалета. То она появляется одетая по рисунку Давида, наподобие прекрасной Елены. Легкая полупрозрачная туника, схваченная двумя камнями по плечам, небрежно падает к ногам, обутым в золотые греческие сандалии. Сбоку от бедра до ступни туника разрезана. Фатоватые юнцы в взлохмаченных париках «под отрубленные головы», с пышными бантами на шеях и пискливыми хлыстиками в руках, жадно разглядывают упругую тонкую ногу Терезы. Иногда мадам Тальен приезжает на балы, одетая вакханкой. В белокурый парик (моду на парики разных цветов ввела она) вплетены небывалые атласные цветы, платье настолько прозрачное, что позволяет различить тело, одна грудь как бы случайно обнажена. Парижанки не успевают подражать своей «королеве», даже артистка Ланж, виконтесса де Богарне и прекрасная Рекамье признают себя побежденными в этом постоянном соревновании вкуса и изобретательности.

В пору начала власти Директории в Париже вошли в моду салонные политические заговоры, похожие на водевильную забаву или потешный маскарад. Тереза не отставала и в этом занятии. Она примкнула к нескольким светским истеричкам, расфуфыренным буржуазным сынкам и трясущимся старичкам, для которых течение жизни установилось при Людовике XV, объявлявшим себя сторонниками возведения на французский престол испанского короля. Госпожа Тальен рассчитывала в случае осуществления этого достаточно беспочвенного плана добыть портфель королевского министра своему отцу графу Кабаррюс. В парижских салонах заговорили о ночных сборищах заговорщиков-монархистов, в числе которых находилась и жена Тальена. Напуганная Тереза поспешила ретироваться, так как заманчивая интрига грозила превратиться в неудобный скандал. С той поры госпожа Тальен потеряла навсегда охоту претендовать

на политическую значимость и вполне довольствовалась безраздельной властью в салонах.

В течение года после 9 термидора положение Тальена заметно пошатнулось: слишком революционное прошлое, казни аристократов в Бордо, родственники которых снова появлялись в Париже и приобретали влияние. Шквал реакции относит Францию направо, подготавливает империю и реставрацию Бурбонов. Тальен сделал свое дело и больше не нужен. Баррас, стремясь удержаться у власти, охотно жертвует бывшим другом. Термидорианцы Фрерон, Вадье, Тальен оказываются слишком подозрительными для новой эпохи, приход которой они подготовили, и лучшие из них, как Колло д'Эрбуа, кляня свое безумие и преступление перед якобинцами, пытаются восстать и кончают жизнь на каторге, на «сухой гильотине» - в Кайенне. Видя, что Тальен теряет политическое влияние и власть, Тереза не медлит выводами и оставляет его, забирая с собой маленькую дочку по имени Термидор. Она живет в подаренном ей доме под покровительством элегантного Барраса. Жизнь ее учится прежним темпом в увеселениях, флиртах, трудных измышлениях все новых и новых украшений и туалетов. Но расчетливый Баррас не склонен содержать чрезмерно расточительную любовницу, он с удовольствием передает ее Увару, одному из отъявленных спекулянтов и скупщиков, бешено нажившихся на голоде революционных лет.

После безобразного маркиза Фонтене, тусклого эгоиста Тальена, откормленного циника Барраса возле Терезы оказался коротконогий чванливый Увар. «Избушку» сменил дворец с толпой слуг, с английскими полукровками и новенькими каретами в конюшнях. Каждый год на протяжении пяти лет Тереза рожает Увару детей, и предусмотрительный банкир тотчас же отправляет их в деревню к надежной кормилице. Иногда госпожа Тальен отправляется в дальнюю деревню, чтобы потрепать розовые щечки маленьких Тальенов (дети значатся под этой фамилией).

В числе близких друзей Терезы - генерал и генеральша Бонапарт. Госпожа Тальен не без оттенка покровительственности любит Жозефину, менее красивую, чем она, но такую же праздную и жадную до развлечений. Ранее Тереза увлеченно

помогала Баррасу, которого слегка ревновала, просватать обедневшую виконтессу за талантливого корсиканца-генерала. Во время Египетского похода, куда с Бонапартом поехал отставленный от государственных дел Тальен, Жозефина - частый гость в доме Терезы. Подруги проводят долгие часы на удобных кушетках, рассматривая себя в зеркала, вскрикивая при виде новой морщинки, поверяя друг другу свои однообразные, большей частью любовные тайны. Тереза уже слегка пресыщена слишком пышной и пустой жизнью, в то время как темпераментная Жозефина, живущая небогато, развлекающаяся неразборчивыми чувственными интрижками, тянется к роскоши. Иногда Тереза напоминает Жозефине свое знакомство с Наполеоном. Как-то вскоре после осады Тулона к ней явился незнакомый офицер. Подобных посетителей бывало в приемной госпожи Тальен так много, что она почти его не разглядела, описав свою нужду и заслуги и показав прорванный на локте рукав куртки, проситель сказал: «Гражданин Тальен всемогущ, не может ли он помочь герою Тулона получить кусок сукна по твердой цене». Госпожа Тальен обещала походатайствовать у мужа и через несколько дней доставила Бонапарту сукно. Впоследствии он стал гостем ее салона.

Уже в конце 90-х годов внимательная к себе красавица Тальен, замечая в темных волосах одинокий седой волос, белый, как лунный луч на черном ковре, начала подумывать о том, чтобы прочно обосновать свою жизнь, выйти сызнова замуж за богатого, солидного, как ее отец, человека и уехать в поместье. Содержавший ее банкир Увар не казался ей подходящим для такой цели.

Лишь в 1805 году она осуществила свое намерение и вышла замуж за графа Карамана, впоследствии получившего от Наполеона титул принца де Шиме. К свадьбе Наполеон прислал Терезе поздравление, а Жозефина, недавно коронованная императрицей, даже удостоила ее посещением. Но приглашения в императорский дворец принцесса де Шиме никогда так и не получила. Бывшая жена Тальена, подруга Барраса даже под другой фамилией не подходила к императорскому двору. Это было постоянным огорчением «богородицы Термидора», и

утешилась она лишь в пору реставрации Бурбонов, к ней благосклонных.

«Моя жизнь - изумляющий роман», - говорила в 30-х годах прошлого века седая старушка, уединенно проживавшая в своем поместье Шиме.

В 1834 году к ней съехались дети: седой маркиз де Фонтене-младший, похожий на своего отца*, пожилая дочь Тальена - Термидор, олицетворявшая дни былой славы, сыновья Барраса и банкира Увара и, наконец, три молодых принца де Шиме.

В сентябре, вскоре после смерти «богородицы Термидора», Париж опять заговорил о ней. Трое детей Увара, записанные Терезой под фамилией Кабаррюс, затеяли процесс, требуя предоставления им права на титул принцев Шиме. «Законные» дети принца, не желая упускать наследство, протестовали. Так как умерший в нищете и забвении в 1820 году бывший комиссар Конвента не отрекся от детей Терезы, родившихся до формального ее развода с ним, то суд присвоил сыновьям Барраса и Увара фамилию Тальен, отклонив их претензию стать принцами.

* - ошибка Г.Серебряковой. Первый сын Терезы погиб в ходе наполеоновских войн. **Антуан Франсуа Теодор Дени Игнас де Фонтене (2.05.1789—10.02.1815)**, лейтенант драгун.



Галина Иосифовна Серебрякова

ЕЛИЗАВЕТА ЛЕБА

По изданию:

Г.Серебрякова. Женщины эпохи Французской революции

Веб-публикация: Марта, Люсиль, Vive Liberta, 2003

Сколько их, погибших, сломленных в борьбе, не отмеченных историей, незаметных женщин. Матери, дочери, соратницы - их много, захваченных Великой французской революцией, и подчас, в моменты испытаний, проверки они подлинно героичны.



Столяр Морис Дюпле в годы революционных потрясений жил на улице Сент-Онорэ, в деревянном домике, вход в который был только через ворота со двора. Он нанял дом у монастыря

«Зачатия», расположенного рядом, на той же улице Сент-Онорэ. К радости якобинца-столяра, во время революции вследствие конфискации церковных имуществе вся недвижимость монастыря вместе с домом, занятым семьей Дюпле, стала собственностью нации. Кроме одноэтажного узкого корпуса с окнами на улицу, во дворе столяра находились еще два флигеля, в одном из которых жил с июля 1791 года Робеспьер. Он занимал одну комнату, необычайно скромно обставленную, всегда тщательно прибранную.

Благодаря большому мастерству и предприимчивости столяр Дюпле задолго до революции достиг сравнительного благосостояния; в его дворе под навесом, где непрерывно кипела работа, создавались пузатые шкафы, столики на рахитичных ножках, похожие на катафалк кровати.

После революции заказы на тяжеловесную, оживленную деревянным кружевом мебель - украшение дворцов и богатых особняков - сильно сократились, но Дюпле получал подряды для революционных учреждений, и по-прежнему стучал молот, пицала пила, пел рубанок, летели стружки и пахло лаком и краской во дворе его дома. Жена столяра была женщиной добродушной, хлопотливой и гостеприимной. Подобно мужу, она мечтала, обеспечив материально своих пятерых детей, сделать из них мелких буржуа, не знающих нужды.

Меньший из детей четы Дюпле, единственный сын Яков, которого Максимилиан Робеспьер прозвал «наш маленький патриот», отличался сообразительным и пытливым умом и имел хороших политических учителей. Якобинское воспитание не пропало даром: Яков до конца жизни сохранял верность заветам якобинства.

Три дочери Дюпле (четвертая, замужняя, жила вне Парижа) во время революции были уже взрослыми девушками. Они получили хорошее по тому времени образование, пробыв по несколько лет, как диктовал обычай для девушек зажиточных семей, в монастыре «Зачатия». Монастырь не привил им ханжества и высокомерия: изучив музыку, поэзию, рукоделие, они охотно занимались стряпней и стиркой, не гнушаясь черной работой по дому. Элеонора, Елизавета, Виктория отличались цветущим здоровьем, твердостью и цельностью характеров.

Старшая из сестер, Элеонора, замкнутая, чуткая девушка, в 1791-1794 годах училась у знаменитого художника Ренье, студию которого в эту пору посещали преимущественно аристократические девицы, искавшие безобидных занятий, далеких от революционной действительности. «Мадам Робеспьер» (так дразнили они промеж себя якобинку Элеонору Дюпле, насмешливо подчеркивая вовсе не существовавшую близость ее с Максимилианом) была им совершенно чужда.

Елизавета Дюпле, вторая дочь столяра, была хороша собой, весела и подкупающе любезна в обращении с окружающими.

Виктория, неприметная и некрасивая, оставалась всегда лучшей помощницей матери в стряпне и хозяйстве.

В 1789-1793 годах девушек Дюпле можно было увидеть во дворе дома, в Якобинском клубе и в рядах революционных шествий. В квадратном дворике, где высыхала мебель, гордость столяра, и сохло на солнце белоснежное белье - гордость женщин Дюпле, - сестры появлялись, подоткнув юбки, с ведрами и метлами. Елизавета, выливая помой, балуя котят и собак, мурлыкала «Карманьолу» или шутила с рабочими, громко смеясь, часто без всякого повода, от избытка сил, довольства собой и всем окружающим. Ей было двадцать лет.

В Якобинском клубе девушки бывали часто, терпеливо просиживали на длинных заседаниях, слушая внимательно часовые выступления ораторов, не всегда содержательные и оригинальные, но почти обязательно цветистые и полные декламаторского пафоса. В мрачной зале Якобинского клуба впервые прозвучали потерявшие теперь свою свежесть метафоры: «факел революции», «гидра тирании» и много аналогичных.

В день, когда после расстрела народной демонстрации на Марсовом поле столяр Дюпле, восторженный радикал, привел к себе в качестве постояльца Робеспьера, находившегося под угрозой преследования, быт семьи резко изменился. Начиная от хозяина до подмастерьев, бывших в доме столяра на правах равных, все старались угодить «неподкупному» и показать ему свое преклонение, как бы отражая обожание, с которым тянулся к Робеспьеру мелкий люд Парижа.

Для него госпожа Дюпле, образцовая хозяйка, просила своих родственников присылать из деревни птицу и овощи; похвала обеде или варенью, высказанная Максимилианом, заставляла расплываться в счастливой улыбке ее широкое крестьянское лицо. Когда Робеспьер спал или работал, вся семья тихонько обходила его комнату, а когда заседание Конвента или клуба затягивалось до рассвета, какая-нибудь из женщин Дюпле поджидала его у низких ворот.

Выросший вне семьи, одинокий и недоверчивый, Робеспьер, естественно, отвечал большой привязанностью семье столяра, ставшей ему вполне родной. Он ввел в гостеприимный дом на Сент-Онорэ своих друзей. Сен-Жюст, Кутон, Фукье-Тенвилль, Давид часто после длинных совещаний во флигеле, где жил Максимилиан, приходили в главный корпус - квартиру столяра. Там устраивались импровизированные вечеринки. Девушки пели, им иногда аккомпанировал Буонаротти, потомок Микеланджело, будущий друг Бабефа, Сен-Жюст декламировал, госпожа Дюпле суежилась, угощая, Морис Дюпле, процеживая слова, рассказывал последние сплетни городской толпы и каламбуры Пале-Рояля, и обычно до рассвета друзья не расходились. Случалось, что вечеринки у Дюпле посвящались чтению классиков. Освещенный огнем камина, Робеспьер читал отрывки из Корнеля или Расина.

Как-то в сентябре 1792 года к Робеспьеру зашел двадцатисемилетний член Конвента Филипп Леба и с той поры стал приходить ежедневно с огромной лохматой собакой, носящей странную кличку Шелликем. Бывая у Дюпле, Леба обязательно поддразнивал Елизавету, спорил о живописи с Элеонорой, играл на скрипке, брэнчал на клавесине, помогал в хозяйстве госпоже Дюпле и в ученье баловню Якову. Жизнерадостная, крепкая Елизавета понравилась Филиппу с первого знакомства. Немного сухая, всегда строго логичная Элеонора, влюбленная в Робеспьера, внушала ему больше уважения, чем симпатии.

Леба благоговел перед Максимилианом Робеспьером, которого считал гениальным творцом революции. Робеспьер отвечал ему искренней симпатией, ценя в Леба честность, твердость, смелый ум и искренность.

К Елизавете Максимилиан относился с покровительственной нежностью и вниманием; обычно погруженный в себя, раньше других заметил он зарождающуюся любовь Елизаветы и Леба друг к другу.

В узеньком коридоре дома Робеспьер сказал Елизавете о своих наблюдениях и, всегда суровый в оценке людей, многозначительно глядя на нее, отозвался о Филиппе с горячей похвалой, смутившей девушку.

Первые главы любви Филиппа и Елизаветы обычны, но, однако, трогательно наивны и прекрасны, в их романе были и беспокойство, и сомнения, и недоговоренные улыбки, взгляды, вздохи и слезы.

Однажды на заседании Конвента Елизавета с Шарлоттой, сестрой Робеспьера, сидела в первом ряду за барьером, отделяющим публику от депутатов. На ней было лучшее из ее платьев, серенькое в цветочках, с косыночкой на плечах.

Она показалась Филиппу красавицей, когда, глядя на нее, он подходил к решетке, но смущенной Елизавете чудилось, что молодой депутат посмеивается над ней. Однако странно было то, что с маленького пальца, небрежно барабанящего по скамье, Леба снял колечко и, забрав его, ушел, неуверенно улыбаясь. Елизавета, растерянная и подавленная неуловимостью происшедшего, проплакала всю ночь и, что было загадкой для окружающих, стала грустной и бледной. Бедняжка страдала, не понимая поступка Филиппа, предполагая, что он подшутил, заметив, что она его любит, к тому же пропажа кольца, подарка родных, могла вызвать расспросы и догадки. Так продолжалось некоторое время, казавшееся девушке бесконечным: заболевший Филипп долго не появлялся. Наконец по деревянной лесенке, помахивая хвостом, вбежал Шелликем, а за ним Филипп, как всегда веселый и смеющийся. У него попросили вернуть колечко, и он, не менее тревожившийся, чем Елизавета, не выдержал далее - признался в своей любви.

Столяр Дюпле и его жена были польщены сватовством друга Робеспьера и с оформлением брачного контракта не медлили. Он был подписан 26 августа 1793 года.

Идиллическая любовь Елизаветы и Филиппа - одна из очень немногих романтических историй двух лет революции перед

Термидором, когда уже заметно подготовлялся тот сдвиг в нравах, что достиг высшего предела при Директории. К любви относились упрощенно и грубо. Браки поражали кратковременностью, и разводы следовали один за другим. Не утруждали и не усложняли чувство проверками и сомнениями, отдавались любви спеша и не раздумывая.

Совместная жизнь Филиппа и Елизаветы Леба была овеяна тихой маленькой радостью. Они как бы осуществили для себя ненадолго ту незатейливую утопию мелкобуржуазного счастья, которую обещали массам якобинцы. Как и раньше, в доме родных, Елизавета занималась уборкой и шитьем в своей квартирке, просто и уютно обставленной госпожой Дюпле-матерью, по-прежнему после работы дома она уходила с мужем в Конвент, в клуб или к родным. Сын, родившийся у Елизаветы, был встречен бурным восторгом Филиппа и стариков Дюпле, даже неулыбающийся Робеспьер смеялся, глядя на барахтающегося в колыбели чистого и сытого ребенка. Однако с каждым месяцем все задумчивее и сосредоточеннее становился Филипп. Возвращаясь из Конвента весной 1794 года, он подолгу молчал, механически поглаживая блестящую шерсть Шелликема, и высказывал беспорядочные мысли о возможности катастрофы, которые пугали Елизавету. Она успокаивалась только в доме родных, где царило безмятежное счастье.

Столяр Дюпле, выполнявший большой и прибыльный заказ для Комитета общественного спасения, целыми днями, окруженный помощниками, строгал, пилил, красил и демонстрировал во дворе полукруглые скамьи, столы, стулья - предметы, имеющие, по мнению Дюпле, наибольшее значение в повседневной жизни людей. Хорошему настроению столяра также способствовало назначение его присяжным Революционного трибунала. По вечерам, почистившись и причесав жидкие волосы, гражданин Дюпле шел в Якобинский клуб поспорить, пошуметь и послушать.

Лето 1794 года было на редкость душное и сухое. Вместе с сестрой Элеонорой, позади тихо разговаривавших Леба и Робеспьера, Елизавета под вечер прогуливалась в Елисейских полях. В конце XVIII столетия они еще не были застроены,

выстрижены и приглажены, как теперь, представляя собой только поросшее кустарником поле в рытвинах и ухабах.

Непоколебимый фанатизм Леба заражал Елизавету: ее уверенность в том, что Робеспьер и Филипп всегда и во всем правы, была такова, что стук тележки смертников, ежедневно проезжающей по улице Сент-Онорэ, не омрачали счастья. Гильотины казались гнетущей необходимостью, спасением, и Дюпле с тяжелым спокойствием отмечали количество отсеченных голов.

Незадолго до Термидора Дюпле, Леба и Робеспьер были в деревне. Под густой листвой сытно обедали среди смеха и веселья. Элеонора и Максимилиан под руку ушли в лес, и госпожа Дюпле, скрывая горделивую улыбку, провожала их красноречивым взглядом. Все, не высказывая вслух надежды, думали о скором браке Элеоноры с Робеспьером. Но поездка в деревню была лишь кратким отдыхом в тревожные дни.

Филипп все позднее возвращался домой и все чаще говорил с Елизаветой о том, как лучше устроить ей жизнь, когда его «не будет». Он отшучивался в ответ на ее горестные расспросы, но перед Максимилианом не скрывал своей тревоги. Леба не доверял Конвенту, чуял заговор термидорианцев и настойчиво предлагал заблаговременные решительные меры. Как и другие робеспьеристы, он понимал, что угроза якобинской власти была смертельно опасна для революции.

Непосредственный практический склад характера толкал Филиппа к действию. Видя колебания и медлительность в решениях Робеспьера, он впадал в уныние, предчувствуя поражение.

За несколько недель до Термидора, во время праздника Верховного существа, идущий в процессии Леба улавливал смех, издевательства и недомолвки в рядах недавних дантонистов, уцелевших жирондистов и в «болоте», доселе безразличном и спокойном. Вернувшись после праздника домой потрясенным, он с жуткой уверенностью сказал Елизавете, что конец революции близок, если Робеспьер не будет решительным. В мучительные дни душного лета, насыщенного выжидательным молчанием, Елизавета мужественно прятала от Филиппа свои опасения. Внешне жизнь не менялась, и она пыталась утешать себя планами

будущего. Утром 9 термидора Леба ушел в Конвент. Робеспьер, готовившийся к решительному выступлению, уверил его, что красноречием подействует на депутатов и сохранит за собой большинство. О том, что произошло в Конвенте, Елизавета узнала вскоре на улице от женщин, безжалостно сообщавших подробности ареста робеспьеристов. Вскоре неожиданно для Елизаветы конвоиры привели домой арестованного Леба. В его присутствии произвели обыск и опечатали документы. В воспоминаниях об этом последнем пребывании Филиппа дома Елизавета утверждает, что в числе изъятых у Леба бумаг были документы, компрометировавшие дантонистов. Документы эти будто бы бесследно исчезли. После процедуры опечатания и конфискации бумаг Филиппа отвели в тюрьму Ла-Форс. Прощаясь с женой, Леба еще надеялся на скорое освобождение, рассчитывая на вмешательство Парижской коммуны и якобинцев предместий.

Двумя часами позже Елизавета, в смятении, с бешено бьющимся сердцем, едет на извозчике к тюрьме, где заключен Филипп Леба. Она везет мужу то, что кажется ей необходимым и что должно скрасить одиночество камеры. Ее руки судорожно придерживают матрац, складную кровать, узел с одеялом, бельем, памятками о ней и сыне.

Перед плохо охраняемыми воротами тюрьмы она видит делегатов решившей сопротивляться Коммуны, присланных мэром Парижа Флерио. Они требуют освобождения робеспьеристов, и тюремные власти, подчиненные Коммуне, выпускают арестованных. Позади других появляется Леба. Не в силах сдержать вопля горя и надежды, Елизавета бросается к мужу. Тогда он поспешно говорит ей слова, которые и пятьдесят лет спустя еще звучали в ее ушах. Он давал ей множество советов: «Корми маленького Филиппа грудным молоком», «внуши ему любовь к родине», «скажи, что отец умер ради него». Леба был, как всегда, непоколебим, но в словах неотступающего якобинца не чувствовалось уверенности в победе.

Направляясь вместе с младшим Робеспьером в ратушу, он на ходу повторял жене: «Живи для нашего сына, воспитай из него борца, ты сможешь это. Прощай, моя Елизавета, прощай». Леба скрылся в подъезде, но Елизавета не уходила. Она провела

долгие часы, не отрывая глаз от освещенных окон, следя за мелькающими силуэтами, в надежде еще раз увидеть Леба. Лишь к ночи Елизавета вернулась домой, Крошечный сынишка горько плакал, не получая необычно долго своей порции материнского молока.

В залах муниципалитета Филипп и брат Максимилиана встретились с Робеспьером, Кутоном, Сен-Жюстом, также только что освобожденными из тюрем, и командующим войсками Парижа Анрио. В течение всего вечера Леба часто поднимался из-за стола заседающих и подолгу смотрел на большую площадь перед ратушей. На ней царило неопишное возбуждение. Быстро собранные отряды предместий, верные робеспьеристам, при свете факелов представляли полуфантастическое зрелище. Тщательно сложенные ружья внушительно выстроились длинными рядами. Грозное небо, покрытое тучами, прорезывали молнии. Начался крупный летний дождь, от которого, шипя, гасли огни факелов. Леба с нетерпением ждал действий Робеспьера, отмечая про себя, как много времени уже было упущено. Вооруженные силы Парижа под командой генерала Анрио были на стороне Робеспьера, артиллерия могла без труда разогнать Конвент, члены которого в течение первых часов ничего бы не могли противопоставить Анрио. Почему же Конвент не объявлен немедленно распущенным, почему не схвачены Тальен, Баррас и другие заговорщики, почему новое революционное правительство не объявляет о своем образовании народу? Леба не знает, что Робеспьер, быть может, ждет, чтобы восстание предместий само решило его судьбу и судьбу революции, рассчитывает, быть может, на возвращение к нему колебавшегося большинства Конвента. Быть может, Робеспьер учитывает не только Париж, но и всю Францию, которую не легко поднять против сохранившей внешний престиж законной власти Конвента. А армия - не поддержит ли она Конвент, не останется ли она на стороне организатора победы Карно, не сотрет ли она с лица земли артиллерию Анрио? Не потому ли колеблются сами солдаты Анрио, не потому ли расходятся по домам, когда наступает ночь, якобинские добровольцы, что Робеспьер в их глазах бунтовщик, взывающий к новому восстанию против законной власти. Но было уже столько восстаний и переворотов,

а дороговизна, безработица и голод бьют все больше бедняков. Энтузиазм предместий не вспыхивает, как раньше огненным факелом, освещающим исторический путь масс, Робеспьер не решается еще раз натянуть стальную узду - вздыбить усталый Париж. Леба бессильно сжимает кулаки. Льет проливной дождь. Анрио фанфаронствует.

Площадь перед ратушей почти пуста. Тогда белые добровольцы Барраса переходят в наступление. Их патрули рыщут по городу, объявляя Робеспьера вне закона. Два отряда движутся к Совету Коммуны, их ждет неожиданная удача. Ратуша не охраняется, в освещенных залах делегации предместий и ораторы муниципалитета обмениваются приветственными речами, Робеспьер в кружке друзей приступает к организации восстания. Поздно. Солдаты Конвента врываются в ратушу. Они взламывают дверь в придавленный потолком зал, где заседают вожди якобинцев, и выстрел кончающегося самоубийством Филиппа Леба заглушается падением тела раненого Робеспьера, опрокинувшимися стульями, топотом ног, проклятиями якобинцев и возгласами торжествующих термидорианцев. Младший Робеспьер бросается из окна на каменные плиты мощеной площади.

Когда трагическая весть о разгроме робеспьеристов дошла до Елизаветы, она, измученная ожиданием развязки бесконечной ночи с 9 на 10 термидора, потеряла сознание, и в течение двух дней оно к ней не возвращалось. К ее счастью, она не слыхала знакомого дребезжания тележки палача, провезшей мимо дома Дюпле Робеспьера и его единомышленников. Елизавета не видела, как озверевшая, воющая толпа, еще вчера поклонявшаяся «неподкупному», задержала тележку смерти у квартиры столяра и какой-то хулиган мальчишка мазал кровью закрытые ставни и ворота дома. Неподвижно лежавший с раздробленной челюстью Робеспьер, казалось, не замечал издевательств, и глаза его были закрыты. Элеонора, верный друг Максимилиана, видевшая все в щель ставен, не была избавлена и от этой пытки.

С трудом оправившись, Елизавета тщетно разыскивала могилу Филиппа; вместе с Леба исчез Шеллик. Он пролежал на убогом

холмике могилы Леба два дня и вернулся 12 термидора, жалобно повизгивая, к жене любимого хозяина.

Вскоре после Термидора на квартиру Елизаветы пришли агенты Комитета общественной безопасности и увели ее вместе с пятинедельным ребенком в тюрьму Таларю, туда же была заключена и Элеонора Дюпле. Сестры помещались в наскоро оборудованной из обыкновенного жилого дома тюрьме, в душной мансарде под самой крышей. По ночам Елизавета стирала тряпки, заменявшие пеленки ребенку, а Элеонора просушивала их под своим матрацем.

Столяр Морис Дюпле, его жена и сын были арестованы тотчас же после падения Робеспьера. Госпожа Дюпле, полагая, что ее ждет гильотина, повесилась 10 термидора.

Когда восемь месяцев спустя Елизавета вышла из тюрьмы, у нее не было ни жилья, ни денег. Она зарабатывала хлеб себе и своему ребенку тяжелым физическим трудом, стирая на реке белье. Преследуемая, одинокая, она гордится фамилией, которую носит, отказывается давать показания, и ни разу в тяжелые годы термидорианской реакции с ее губ не срывается слово раскаяния или сожаления.

Иначе держала себя Шарлотта Робеспьер. Арестованная после Термидора, она поспешно отреклась от своих братьев. Это обеспечило ей пенсию в 6 тысяч франков от Директории. Госпожа Каро, как стала отныне называться Шарлотта Робеспьер, ухитрилась сохранить пенсию, несмотря на частую смену правительств, до самой смерти. Свое позорное поведение она тщетно попыталась объяснить в мемуарах и завещании, в которых уверяла, что никогда не отрекалась от братьев.

Елизавету Леба не удалось подкупить термидорианцам, несмотря на ряд попыток. Она рассказывает в своих воспоминаниях, каким образом ей случалось отбиваться от их настойчивых домогательств. Однажды, испугавшись, что хитростью у нее вырвут отречение от Филиппа Леба, Елизавета, не имея пера и чернил, разрежала руку и булавкой, обмакнутой в кровь, написала, что не примет никакой помощи от палачей мужа.

Впоследствии Елизавета вышла вторично замуж за брата Филиппа и овдовела в 1829 году. Вдова Леба умерла лишь в 1855

году. Незадолго до смерти она писала: «Я люблю свободу; кровь, которая течет в моих венах теперь, в семьдесят лет, кровь республиканки».

Сын Филиппа и Елизаветы был талантливым ученым, отдававшимся науке с той же страстью и верностью, как его отец когда-то революции. По странному капризу истории профессор Филипп Леба, сын члена Конвента, в годы Реставрации был приглашен преподавателем за границу к одному молодому человеку, воспитанием которого руководил некоторое время. Его уроки были, по-видимому, восприняты своеобразно, так как из юноши не вышло якобинца.

Ученик Филиппа Леба был не кто иной, как будущий Наполеон III.

Галина Серебрякова

ЖОЗЕФИНА БОНАПАРТ

По изданию:

Г.Серебрякова, «Женщины эпохи Французской революции»

М.: Художественная литература. 1958

Веб-публикация редакторов сайтов [Vive Liberta](#) и [Век Просвещения](#) 2008

Если и теперь острова в Карибском море кажутся экзотически прекрасными и тревожат фантазию европейца, тем более в XVIII веке остров Мартиника, сулящий богатство, таинственный, далекий, являлся естественной приманкой. Франция в течение пятидесяти лет упорно боролась с Англией за Мартинику. Находилось немало искателей приключений, прокутившихся аристократов, которые последнюю ставку ставили на тропический плодородный остров и оседали на Мартинике в качестве плантаторов. Руки черных рабов и плодоносная земля очень скоро пополняли опустевшие карманы колонизаторов. Один из них, Жозеф Таше де ла Пажери, был владельцем сахарной плантации, на которой, кроме наемных рабочих, трудились лично ему принадлежавшие двадцать рабов. Плантатор женился на красивой туземке, и в 1763 году родилась у них дочь Мария-Жозефина-Роза Таше де ла Пажери. Маленькую креолку передали на попечение нянь-туземок, и девочка росла среди суеверных, насильно окатоличенных язычниц в своеобразной обстановке большого дома плантатора.

Воспитываясь без надлежащего присмотра. Роза оставалась в большой мере невежественной. Она не была мечтательной: гигантские деревья, подавляюще пышная растительность, тропические ливни не тревожили воображения девочки, суеверья ее были грубы, ум — практический и трезвый. Унаследовав от отца чувственность, рано развившись физически, Роза тянулась к любовным удовольствиям.

В семье де ла Пажери в годы отрочества Розы жил бывший на несколько лет старше ее Александр де Богарне. Его отец, маркиз де Богарне, был в течение долгого времени губернатором Мартиники. Любовь к тетке Розы госпоже Реноден сблизила де Богарне с Таше де ла Пажери. Когда англичане в первый раз захватили у французов остров, маркиз бежал во Францию. Он оставил Александра на Мартинике, но взял прекрасную Реноден с собой в Париж. Виконта Александра отвезли во Францию учиться, когда Розе минуло девять лет. Учение девочки было кратким и поверхностным. Врожденное кокетство и легкомыслие внушали тревогу ее отцу, и, воспользовавшись приглашением госпожи Реноден, плантатор отпустил пятнадцатилетнюю дочь к тетке.

В Париже тетка Реноден, не откладывая, принялась за осуществление своего давнишнего желания: женить сына маркиза де Богарне на красивой племяннице. Прежний друг детских лет Розы превратился к этому времени в неглупого молодого офицера. Под влиянием своего наставника Александр проникся передовыми идеями, боготворил Вольтера и Руссо. Подобно Лафайету, он участвовал в американском походе и, подобно Бриссо, будущему вождю Жиронды, стал в Америке квакером. Александр грезил о революции, вращаясь при этом благодаря титулу в «высшем свете» королевской Франции и легко завоевывая благосклонность красавиц Парижа. Креолка с Мартиники, бойкая провинциалка, мало чем привлекала Александра, однако тонко затеянная игра госпожи Реноден, сентиментальные воспоминания детства и уговоры отца повлияли на податливого виконта.

К огромной радости Розы в 1779 году она стала виконтессой де Богарне. Очень скоро, впрочем, обнаружилась непрочность этого союза. Равнодушие и пренебрежение к Розе все усиливалось у Александра.

В 1781 году, после рождения сына Евгения, отношения между виконтессой и мужем значительно обострились, и Александр уехал в Италию, оставив жену в доме старого маркиза. Во время его отсутствия госпожа Реноден посвящала Розу в секрет того, как «повелевать мужчинами» и нравиться в светском обществе. Стареющая опытная красавица под бружжание подагрического маркиза и треск сгорающих в камине поленьев рассказывала Розе веселые подробности своей жизни. Но школа тетки не помогала; едва Александр вернулся, семейные недоразумения начались с прежней силой. Виконт охотно вновь уезжает на Мартинику — воевать с англичанами. В эту же пору у-виконтессы родилась дочь Гортензия, и она восторженно отдалась радости и заботам материнства. Детей своих Роза любит страстно, по-звериному, ревниво оберегает их.

Вернувшись с Мартиники с молодой возлюбленной, Александр решает ликвидировать свой брак. На добровольный разрыв Роза не согласна, и настойчивый виконт Богарне затевает судебный процесс, требуя разделения имущества и обвиняя виконтессу в безнравственности и нежизнелюбии.

Католический брак нерасторжим, но аристократический суд может разделить супругов. Роза благоразумно надевает на себя маску смирения и уезжает с детьми в монастырь. Она с большим умением разыгрывает «оскорбленную невинность» и очаровывает напудренных старцев-судей. Ее признают «добродетельной», присуждают большую ренту и оставляют детей.

Торжествующая виконтесса, вполне обеспеченная материально, свободная, безупречная в общественном мнении, спешит наверстать потерянное в стенах монастыря время.

Прогулки верхом, пастушеские идиллии, томные вздохи и легкий флирт, мечтания и откровенный разврат царят в среде, где вращается виконтесса. Но Роза еще не отшлифована: она слишком громко смеется и любит чрезмерно яркие наряды, ее находят в «свете» невоспитанной и болтливой. Дочь плантатора с Мартиники, почувствовав это, уезжает с детьми на остров к родным. Там она уверенной хозяйкой обходит плантации, подсчитывает барыши от продажи сахарного тростника, командует на заводах отца, целуется с офицерами гарнизона, гадает с рабынями и скучает по Парижу.

Так проходят три года, пока корабли из Франции не привозят вести о революции. На Мартинике начинается восстание рабов. Испуганная плантаторша поспешно возвращается в Париж, где Александр де Богарне, избранный дворянами в Генеральные штаты, голосовавший с третьим сословием, уже популярен в предместьях. Виконтессу он встречает дружелюбно и бывает частым гостем в ее квартирке. Гражданин Богарне в этот период целиком охвачен фанатической страстью к революции. Поверхностный, но искренний, он влюблен в революцию, как в женщину; ей он верен, ради нее одевается, как истый санкюлот, перебарщивая в количестве трехцветных кокард.

Розу Богарне революция мало интересует, но она быстро замечает, что цена денег падает, что привозимый из Индии ее любимый полосатый муслин дорожает, что Александр Богарне добился власти и окружен могущественными людьми. Ее мечтой становится создать блестящий салон. Франция XVIII века культивирует женские салоны. Салоны куртизанок, фавориток короля, знатных дам в большом количестве существуют в Париже. В эпоху революции аристократическим салонам демократия противопоставляет клубы — «салоны» бедняков. Клубы якобинцев, огромной сетью раскинувшиеся по Франции, погибли вместе с поражением революции, и салоны начнут возвращать свое политическое значение, опираясь на реакцию. Салон Розы Богарне был, однако, всего-навсего изящной светской гостиной, которую благодаря Александру Богарне, ставшему вскоре руководителем Учредительного собрания, посещали депутаты собрания, комиссары провинции и молодые полководцы. Так завязала она впоследствии значительные для ее жизни знакомства с Тальеном и Баррасом,

Торжество якобинской партии оказалось роковым для политической карьеры свободомыслящего дворянина, каким оставался Александр Богарне. Конвент в момент тяжелого положения на фронте назначает его, как революционного генерала, командующим Рейнской армией. Но философ и резонер, генерал Богарне не оправдывает своей репутации участника революционной войны в Америке и теряется в сложной обстановке отрезанной противником армии. Он сдает Майнц и получает отставку. В Париже свирепствуют обостренная партийная борьба и террор. Казни заподозренных в измене генералов следуют одна за другой. Не имея надежды на спасение, генерал Богарне приезжает в Париж. Он фаталистически ждет ареста и спокойно уходит в тюрьму. Хорошенькая Дельфина де Кюстин, ожидающая, как он, эшафота, становится его последним увлечением.

Понимая, что, подобно другим женам обвиненных в измене аристократов, она будет арестована, госпожа Богарне энергично готовится к тюрьме и устраивает детей. Мальчика отдает будто бы в учение к столяру, дочь — к портнихе. Все это, впрочем, фикция: дети будут на попечении верной гувернантки, как и крошечная собачка Фортюне. По-видимому, виконтесса относилась к происходящему, как к урагану, который видела в детстве. Сносило дома, уничтожало богатство плантатора, погибали люди, однако со временем все восстанавливалось, и по-прежнему свистал хлыст в руках ее отца и надсмотрщиков.

Прочитав небрежно приказ об аресте, Роза поцеловала детей и, напевая, пошла в тюрьму Карм. В ее узелке, давно приготовленном, было немного белья, много пудры, были пуховка и помада для губ — предметы наиболее необходимые в обиходе генеральши Богарне.

Парижская тюрьма Карм, сырая и мрачная, в 1794 году была охвачена, подобно другим домам заключения, любовным безумием. Мужчины и женщины, не отделенные друг от друга, жили в чувственном чаду, ожидая с минуты на минуту вывоза в Трибунал и оттуда на гильотину. Боязнь одиночества, - страх смерти, у женщин надежда на беременность, отсрочивающую казнь, бросали незнакомых, чуждых людей друг к другу. Они отдавались страсти безудержно, оправдывая мимолетные связи и эротические оргии лязгом ножа гильотины, который пугал их неотступно. Аристократы, ремесленники, менялы, знатные сердцеедки, солдаты переполняли тюрьмы. Злостный контрреволюционер и эбертист, истерическая дама-мистичка, расстрига-поп, поэт, торговец, герцогиня, перемешанные вместе, угрюмые или неестественно веселые, ждали смертного часа. Роза Богарне в этой человеческой гуще столкнулась с храбрецом генералом Гош, меланхолическим и суровым. Роман их был типично тюремным: стремительный, лишенный любви, слов, ничем, кроме призрака гильотины, не внушенный. Когда после Термидора тюрьмы выплюнули заключенных, Гош, надежда и опора Директории, с озлоблением и отвращением вспоминал о своих отношениях к госпоже Богарне. Наполеон, однако, судя по его письмам и воспоминаниям современников, забывая о многочисленных связях своей жены, болезненно ревновал ее именно к Гошу.

Пятого термидора был казнен Александр Богарне. Он умер твердым атеистом; его последнее письмо семье полно поучений и торжественного самолюбования. Приближался финал и для Розы, но 9 термидора принесло ей освобождение.

Гильотина работает по-прежнему на площади Грэв, но отныне падают иные головы; тюрьмы очищают, чтобы заполнить их новыми заключенными — членами Парижской коммуны, якобинцами, робеспьеристами. Героем дня ненадолго становится Тальен, один из вождей термидорианского переворота. С его женой, Терезой Кабаррюс, Роза Богарне сблизилась в тюрьме Карм, и теперь, после избавления от тюрьмы и гильотины, мадам Тальен приглашает «прекрасную креолку» к себе, учитывая, каким украшением ее «избушки» она может явиться.

Сближение мадам Богарне с всемогущим диктатором Баррасом несколько улучшило ее пошатнувшиеся финансовые дела, но расходы росли непомерно. Париж распоясавшейся «золотой молодежи» и очаровательных доступных женщин веселился и сорил деньгами. Госпожа Богарне должна была всячески изворачиваться, чтобы внушительных денежных сумм, получаемых от Барраса, хватало на ту жизнь, которую она избрала. Моды менялись ежедневно, шали, туники, котурны, сложные и тонкие платья по рисункам Давида стоили невероятных денег. Парики, драгоценности, лошади и экипажи — все это было необходимостью. Ловкая госпожа Богарне не без труда удерживалась в ряду «элегантных звезд» госпожи Тальен, Рекамье и Ланж.

В своих мемуарах Баррас с хвастливой откровенностью заявляет, что подсунул надоевшую любовницу простачку Бонапарту в расчете оказывать на него влияние в интересах Директории. Так ли это было, или нет, но Баррас, во всяком случае, поддерживал устройство этого союза и помогал госпоже Богарне принимать застенчивого генерала с показной роскошью.

Познакомилась госпожа Богарне с Бонапартом случайно. Сын ее, Евгений Богарне, обратился к Наполеону с просьбой возвратить ему конфискованную по постановлению Конвента отцовскую саблю. Он добился личного свидания с генералом, и просьба его была удовлетворена. Госпожа Богарне сочла нужным отблагодарить Бонапарта, тем более что это было удачным предлогом для знакомства. Шурша шелками и внося с собою крепкий аромат модных духов, она появилась в канцелярии командующего войсками Парижа. Легко себе представить, как эта искусная кокетка, тщательно проверив дома перед зеркалом наиболее неотразимые взгляды и улыбки, пустила в ход весь арсенал средств для прельщения неуклюжего ободранного фронтовика, которому приходилось прибегать к протекции госпожи Тальен, чтобы выхлопотать отрез сукна на новый костюм. Она добилась, к радости Барраса, очень многого. Бонапарт появился в уютном домике на улице Шантерэн и вскоре стал постоянным посетителем и близким, интимным другом госпожи Богарне, которую, предпочтя это имя двум ее другим именам, стал называть Жозефиной, взамен Розы, как ее звали с детства. Бонапарт был беден и ничего не мог дать Жозефине. Вино в ее погребок, дичь, фрукты, столовые сервизы и белье — все это поставлялось Баррасом, получавшим от Жозефины полезные для Директории сведения об опасном генерале. Жозефина не любила Наполеона и не раз удивлялась, что интересного находит Баррас в маленьком, часто грязном корсиканце, таком невежливом, неизящном. Ее злили его манеры фронтового солдата, его грубые шутки и ласки. Но Баррас был высокого мнения о Наполеоне и побаивался его влияния, богатые парижане наперебой его приглашали, газеты превозносили, и Жозефина не могла не ценить этого.

Когда влюбленный, терзаемый ревностью. Наполеон предложил ей обвенчаться, желая этим упрочить их отношения, Жозефина не колебалась: она была бедна, несмотря на внешний блеск, опутана долгами, выход замуж за революционного генерала прочно страховал ее, вдову казненного аристократа, от преследований или придинок нового режима. Очарованный Наполеон не без удовольствия отмечал знатный титул и светский такт красивой любовницы. Брачный контракт Наполеона и Жозефины полон сознательных неточностей и выдумок; ради Жозефины, которая была на шесть лет старше Бонапарта, неправильно указаны годы брачащихся: Наполеон прибавил себе два года, Жозефина сбросила четыре, и разница лет исчезла. Свидетелями гражданской брачной церемонии были Баррас и Тальен. Уже через два дня после свадьбы Бонапарт отправился в итальянский поход. В частых письмах с фронта он не перестает умолять Жозефину приехать к нему. Эти письма, полные страстного бреда, свидетельствуют о безумной, чувственной любви к жене. Он ревнует, болезненно подозревает ее в изменах, опять и опять вспоминает их поцелуи и ласки. Между тем Жозефина не отказывается ни от одной случайной любовной интрижки и едет к Наполеону лишь из-за желания поразвлечься, но отнюдь не гонимая тоской. Кроме того, шумные победы Бонапарта, популярность его имени, зависимость от него Директории — все заставляет Жозефину поверить в возвышение Наполеона и предстоящее соблазнительно-блестящее будущее.

Скользя по кровавым полям сражений, точно по ковру светской гостиной, Жозефина разъезжает по Италии. Ее осыпают подарками, окружают восторженным поклонением молодые офицеры. Звон шпор и стройные мужские талии сводят ее с ума, но при всех своих частых увлечениях она, однако, не забывает в письмах в Париж с наибольшим восторгом описать полученное от Мюрата ожерелье и оценить стоимость очередного бала. И в то время как по Италии смерчем движутся войска Наполеона, Жозефина, образец современной буржуазки, неоднократно подсчитывает, во сколько обойдется имение Мальмезон, купить которое она хотела еще при жизни Александра Богарне.

Возвращение из Италии Наполеона было восторженно встречено парижанами. Чтоб отвести от себя подозрение директоров, растущее одновременно с завистью, он держится в тени, избегая оаций, и ведет замкнутый, подчеркнуто простой образ жизни, — генерал и генеральша Бонапарт бывают лишь у избранных друзей. В эту пору уже Наполеон через Жозефину следит за Баррасом.

Соединение тонкого политического расчета и полуфантастического военного замысла порождает в голове Наполеона план похода на далекий Египет. Свыше года отсутствует Наполеон, и все это время Жозефина предоставлена самой себе. Из итальянской армии в Париж вместе с ней приезжает штабной офицерик Ипполит Шарль. Пронырливый молодой человек легко втирается к богатым парижанам, удачно помогает дамам в денежных операциях и сочетает в себе приятную чувствительность с деловым нюхом. В Венеции и Милане Ипполит Шарль носил шаль Жозефины и был чем-то вроде пажа генеральши; в Париже, по-прежнему не лишенный ее благосклонности, он становится чиновником для коммерческих поручений. Кроме непрерывно сменяющихся романтических забав, о которых говорит Париж, Жозефина успешно поправляет материальные дела семьи и через Ипполита Шарля упрочивает сложные отношения с торговой фирмой «Компания Бодэн». Военные поставщики в эпоху Директории быстро и сказочно богатели, умело делясь своими миллионными барышами с Баррасом и близкими к нему людьми, игравшими роль негласных посредников и передатчиков. Жозефина удачно принимала участие в проталкивании дел и элегантно вручении взяток. Ее собственные доходы растут за счет щедрых подарков и субсидий; давнишняя греза о дворце и имении Мальмезон становится выполнимой. Вместе с Ипполитом Шарлем она осматривает поместье, торгуется, покупает его и обставляет дом с вычурной роскошью.

Еще в Египте Наполеон узнает о проделках и поведении оставшейся во Франции жены. Не покупка Мальмезона или коммерческие затеи Жозефины раздражают генерала — эти качества он всегда ценил и будет ценить, — но слухи об Ипполите Шарле и длинном, приумноженном сплетней списке случайных любовников нестерпимы самолюбию Бонапарта. В Египте, измученный ревностью, неверием и разочарованием, он изживает любовь к Жозефине и твердо решает развестись с ней. Однако, возвратившись в Париж, он не осуществил этих намерений; связи и популярность Жозефины в кругах нужной Бонапарту старой и новой буржуазии Парижа явились существенной к тому причиной, покаянные обещания жены и ласки ее укрепили решение Наполеона отказаться от предполагавшегося развода. Не до переустройства личных дел было первому консулу, пожизненному консулу, твердо идущему к короне.

Во время консулата Жозефина приобретает большое влияние. Она сохраняет простоту и доступность, снисходительна к чужим грехам и слабостям, но в нужных случаях умеет блеснуть величием и знанием этикета.

Через мужа и его приближенных она помогала в продвижении по службе, выхлопывала доходные места, помогала добиваться звания и титула, но все это за большое вознаграждение.

Не забывая о своих выгодах, жена консула непрерывно занята накоплением. Ее сундуки полны тканей и драгоценностей, она любит дорогие подношения.

В Мальмезоне в эпоху консулата нередко устраивались музыкальные вечера и блестящие приемы. Кроме лучших итальянских вокалистов, гостей развлекал талантливый Тальма, о котором Наполеон язвительно заметил однажды, употребляя слова Гете, что «пафос его требует дистанции».

В Мальмезон Жозефина выписывала тропические растения и животных из жарких стран, стараясь окружить себя привычной с детства обстановкой. Но жена консула не была еще той исключительной мотовкой, какой она стала, будучи императрицей.

Наибольшим горем Жозефины была бездетность, и мысль о том, что это может стать причиной развода, ее постоянно преследовала. Чем больше ширилась слава Бонапарта, чем больше утверждались его власть и вытекающие отсюда почести и богатство, тем сильнее цеплялась Жозефина за звание жены Наполеона, в то время как он, давно уже ее не любя, с каждым годом все чаще изменял ей. Они поменялись ролями; равнодушие Жозефины, так мучившее некогда Наполеона, сменилось безудержной страстью и сценами ревности стареющей женщины. Особенно страшилась она того, что какая-нибудь из многочисленных фавориток, родившая сына, займет ее место. Преследуя Наполеона слезами, вмешиваясь в его дела, укрепляя свои связи в Париже, выдав замуж дочь Гортензию за брата Наполеона — Луи, Жозефина старается застраховать себя от возможной отставки. Это ей удастся в течение нескольких лет настолько, что в 1804 году Наполеон коронует ее императрицей. Накануне коронавания Жозефина еще раз решает сделать невозможным развод Наполеона с него: она прибегает к помощи церкви. Задоблив вызванного из Рима в Париж для коронации папу подарками, Жозефина сообщает ему о том, что не состоит в церковном браке с Наполеоном. Ночью вызванный папой Бонапарт был обвенчан с Жозефиной по всем правилам католицизма.

Коронованная императрицей, Жозефина бросается на казну страны, безумствуя в тратах, одурманенная возможностью все иметь и купить. И, как в течение ряда предыдущих лет, она не только бесцельно швыряет деньгами, питая страсть к мишурной роскоши, но и неустанно откладывает запасы в любимом Мальмезоне. Этот своеобразный дворец — смесь хорошей молочной фермы с позолоченным цирком — полон уродцами и выдрессированными зверями. Императрица продолжает выписывать птиц из Австралии и Африки, животных из Азии, дрессировщиков со всего мира.

Вместе с тем она занята и другими делами: сватовством, устройством браков. Наполеон создает новую знать, и Жозефина помогает французским буржуа, с женами которых дружна, получать титулы. Эта признательная и близкая к Жозефине парижская буржуазия поддерживала ее, когда встал вопрос о разводе, на который император, желая укрепить династию рождением наследника, в конце концов решился, и встречала новую императрицу с явным недоброжелательством.

Некрасивая, отмеченная вырождением, Мария-Луиза Австрийская, одна из чистокровнейших принцесс Европы, конечно, нисколько не годилась в жены недавнему солдату, императору, всячески старавшемуся загладить свое неродовитое происхождение, и не подходила к его двору, где очень часто под пышным титулом скрывался солдат либо лавочник, разбогатевший выскочка, подчас недавний член Конвента или раскаявшийся якобинец. Племянница Марии-Антуанетты, породнившая Наполеона с Бурбонами, Габсбургами и другими монархами, оставалась безнадежно чуждой честолюбивому императору и его многочисленным родственникам, награжденным большими и малыми тронами.

Жозефина подчинилась решению о своей отставке, лишь только поняла, что дальнейшие притворные обмороки, истерики и скандалы бесполезны и могут оказаться для нее невыгодными. Ей оставалось только одно: заявить, что она уходит в интересах Франции, которой нужно укрепление новой династии. Титул императрицы был ей оставлен, она получила громадную пенсию, Мальмезон и торжественно, не без театральности, покинула дворец Наполеона вместе со свитой.

Очутившись в своем имении, она, как всегда, полна деятельного безделья. В глубине души императрица считает, что разрыв с ней — роковая для Бонапарта ошибка. И, когда через четыре года в Мальмезоне становится известным поражение и отречение Наполеона от престола, Жозефина видит в этом подтверждение своих мудрых прорицаний.

Она искренно считала, что предприимчивый корсиканец, сделавший такую фантастически быструю карьеру, не сумел оценить ее должным образом. Своим связям, своему содействию приписывала Жозефина его назначение в итальянскую армию; и после, в день 18 брюмера, полулежа на изящнейшей кушетке, не она ли обеспечила успех перевороту, пленяя директора Гойе, томными недомолвками и нежными пожатиями задерживая его у себя, по поручению Наполеона, до того момента, когда в Сен-Клу трагикомедия была окончена. Разве не она ловко усыпляла подозрения Барраса лживыми рассказами. Все эти второстепенные детали успехов и возвышения Наполеона казались Жозефине полными решающего значения.

В момент, когда корабль отвозил Наполеона к берегам Эльбы, окруженная почтительными и любезными вступившими в Париж государями-союзниками, Жозефина была по-женски довольна, что новая жена, царственное родство и желанный наследник не принесли Наполеону удачи. Она готова была даже великодушно заступиться за изгнанного императора перед своим новым поклонником — русским царем, чтобы всем убедительно и неопровержимо доказать, как велико ее значение в судьбе Бонапарта. Ходили слухи, что отставленная императрица собиралась отправиться навестить Наполеона в изгнании. Но в самый разгар празднеств в честь союзных армий в Париже в 1814 году она заболела ангиной и умерла.

В эпоху Второй империи признательный внук Жозефины Наполеон III тщетно попытался создать культ своей бабушки.

«Якобинская санкюлотка», как называла себя гражданка Богарне в 1794 году, авантюристическая генеральша Бонапарт, легкомысленная и жадная императрица Жозефина, конечно, никак не годилась в национальные героини.

Женщины, подобные ей, как ядовитые пестрые грибы, вырастали и добивались влияния лишь в пору упадка и гнилой реакции. История госпожи Тальен, жизнь госпожи де Кюстин — «героинь» Термидора — во многом напоминают судьбу госпожи Богарне.

Вскормленная Директорией, беспринципная и цепкая Жозефина, отлично приспособлялась ко всем режимам. С редкой ловкостью она ухитрилась перебросить необходимый мостик из старой, королевской и дворянской, в новую, буржуазную и плутократическую, Францию.

Другие очерки Галины Серебряковой в нашей библиотеке:

Клер Лакомб	http://vive-liberta.narod.ru/revol_fem/red_rose.htm#gs
Елизавета Леба	http://vive-liberta.narod.ru/revol_fem/lis_gsrб.htm
Манон Ролан	http://vive-liberta.narod.ru/revol_fem/manon_gsrб.htm
Тереза Тальен	http://vive-liberta.narod.ru/revol_fem/trtl_gsrб.htm

ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА

Женщины
ЭПОХИ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1958

Галина Серебрякова

ЖЕНЩИНЫ
Э П О Х И
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие А.З.Манфреда

Теруань де Мерикур

Симона Эврар

Манон Ролан

Клер Лакомб

Люсиль Демулен

Елизавета Леба

Мадам Тальен

Жозефина Бонапарт

Веб-публикация: *Vive Liberta*

Симонна ЭВРАР



Был жаркий полдень 12 июля 1793 года. В маленькой узкой столовой приглушенно спорили женщины. Как обычно в последнее время, темой спора являлись способы лечения больного Марата.

Статная, темноглазая, приветливая Симонна Эврар, жена Жан-Поля Марата, беспокоило оглядываясь на низкую дверку, ведущую в ванную каморку, властно заставляла приутихнуть чрезмерно расшумевшихся женщин, лишь только усиливавшийся шум грозил потревожить ее мужа. Разговаривая шепотом, она непрестанно растирала в ступке лекарства, к которым недоверчиво относились остальные две женщины. Лекарства не помогали Марату. Сторожиха дома Мария-Варвара Обэн, складывая свежие, терпко пахнувшие листы газеты «Друг народа», ворчала настойчивее всех. Это была болезненная женщина с одним блеклым, но пронзительным глазом; второй, стеклянный, глаз, грубая подделка, вылезал из-под жидких ресниц,

умерщвляя половину подвижного лица. Разговаривая, Варвара непрерывно ворочала шеей, стараясь поймать в свое суженное поле зрения собеседников. Она отличалась болтливостью, естественной для женщины, проводящей большую часть жизни в привратничке.

Прислуга Марата и Симонны Эврар кроткая Жанетта Марешаль, подобно Варваре, со страхом, обожанием и удивлением относилась к «другу народа», польщенная возможностью говорить с соседями тоном близкого ему человека. Слава последней поры, триумфы Марата делали Жанетту значительной не только в ее собственных глазах, но и в глазах всего квартала.

Несмотря на отличный уход, заботы, непрерывное внимание, Марат был неизлечимо, мучительно болен. Болезнь превратила этого вдохновенного и проникательного вожака масс в беспомощного калеку: он не мог появляться в Конвенте, не покидал своей каморки. Марат умирал и с лихорадочной страстностью набрасывал свои последние статьи.

Тихонько, чуть шлепая мягкими туфлями, Симонна, приготовив лекарство, вошла в чуланчик, превращенный в ванную, — кабинет «друга народа». Грустная и встревоженная, она казалась матерью, идущей на помощь к больному ребенку.

Симонна была прекрасным человеком, и благодаря ей личная жизнь Марата сложилась как нельзя лучше: более верного друга и помощника не мог бы пожелать ни один из якобинских вождей.

В 1790 году Симонна Эврар отдала Марату свое небольшое состояние на издание газеты «Друг народа». Твердая якобинка, Симонна не останавливалась ни перед какими трудностями, стараясь дать возможность Марату вести агитацию с помощью газеты. Все время стремясь быть в курсе всех дел и интересов мужа, Симонна с готовностью бралась за любую работу. Она была одновременно выпускающим, корректором, издателем газеты Марата. Жан-Полю минуло сорок шесть лет, когда он женился на двадцатилетней Симонне. Союз этот был свободным. Симонна не стремилась оформить его гражданской записью. Впоследствии это попираание законности будет стоить ей многих страданий, «любовницу» Марата станут жестоко травить и оскорблять. Как бы предчувствуя зло-

словие, Марат по собственному желанию написал характерное обязательство:

«Прекрасные качества девицы Симонны Эврар покорили мое сердце, и она приняла его поклонение. Я оставляю ей в виде залога моей верности на время путешествия в Лондон, которое я должен предпринять, священное обязательство — жениться на ней тотчас же по моем возвращении; если вся моя любовь казалась ей недостаточной гарантией моей верности, то пусть измена этому обещанию покроет меня позором.

Париж, 1 января 1792 г. Жан-Поль Марат, «друг народа».

Но Симонна всегда решительно отклоняла «законный брак», веря в прочность чувств своих и Марата.

Скрывая беспокойство, Симонна подошла к Марату. Неверный, дымчатый свет падал сквозь узкое оконце, освещая клетушку. На стенной карте свеженарисованные зигзаги делили Францию на департаменты. Постланная поверх ванны, в которой сидел Марат, белая простыня скрывала исхудавшее, изъеденное язвами тело. Ванна, странной формы, напоминала огромный начищенный черный ботинок. Было жарко и душно. Горячая вода, в которую клали серу, приносившую облегчение больному, быстро испарялась. Пар, сливаясь с испариной тела, пропитывал простыню, плыл по комнате, оседая на стенах сырými пятнами. Марат, тяжело глотая воздух, слюнявя пересыхающие губы, вздрагивая от зуда, писал на заваленной бумагами доске, положенной на ванну. Он медленно повернул к жене мокрое лицо, раздутое, разрыхленное и бледное, как тесто. Черные зрачки, точно выведенные по желтой эмали, блестяли страдальчески; из-под белого полотенца, охлаждавшего больную голову, падали черные нити волос. Симонна села на стул близ Жан-Поля. Как всегда в этот час, он прссил корректуру своей газеты, волнуясь спрашивал о делах на фронте, о росте дороговизны.

Марат видел ту огромную опасность, которую таили в себе силы контрреволюции. Он знал, что в самой Франции и за ее пределами аристократия и примкнувшие к ней жирондисты собирают армии против республики.

Страстное желание проникнуть в планы контрреволюции, обезвредить их все время владело Маратом, составляло суть его партийной борьбы. Этому были посвящены все его статьи и зажигательные воззвания последних дней.

Враги платили Марату жуткой злобой, чудовищными, клеветническими измышлениями, его смерть была для них желанной.

Хозяйка гостиницы «Провидение» госпожа Гролле любопытным взглядом окинула и проводила молодую девушку, накануне приехавшую в Париж и остановившуюся у нее. На вид ей казалось лет двадцать пять. Она была невысока и коренаста. Опрятный, непрострый костюм, уверенная, немного тяжеловесная походка и гордо откинутае назад голова придавали ей зазорный вид.

Оживленный город двигался барышнее Шарлотте Корде навстречу. Париж насчитывал тогда 700 тысяч жителей и казался огромным по сравнению с ее родным городом Каном, куда летом 1793 года, после изгнания жирондистских вождей из Конвента, бежали, скрываясь от преследований, депутаты Жиронды: Петийон, Барбару, Бюзю.

Нормандский город Кан ничем не отличался от прочих городов Франции, разве только обилием яблонь в садах. На тихих и узких улицах Кана пробивалась трава, скрашивая неприглядность серых старых домов с низкими окнами, грязными подворотнями и крутыми лесенками. Колокольчик проходящей коровы, стук телеги, плач ребенка не часто тревожили городскую тишину.

Оживление, беспокойное и не предвещающее добра, царило только на той улице, где в интендантстве приютились и работали беглые парижане, готовившие борьбу с Конвентом. Охотно и злобно они подтверждали гражданам Кана достоверность страшных рассказов о терроре и тирании якобинцев. Потрясенные и восхищенные кумушки, близко наклонив друг к другу негнувшиеся белые чепцы, снова и снова перетолковывали «ужасы».

— Я наверное знаю, — говорила одна другой, — что по всем департаментам уже отобрано сто тысяч, а то и больше, человеческих голов для гильотины; это, знаете ли, вроде налога. Наш город тоже не забыт.

— Святая дева! Правда ли, гражданка, что проклятого Марата лечат человеческой кровью?

Так, подобно мухам, враги, глупцы и недовольные разносили по насторожившемуся городу страшную, как холера, клевету.

На улице святого Иоанна, в одном из наиболее отмеченных временем домов, проживала в ту пору г-жа Бреттевиль.

Редкий случай — все злые городские толки по ее адресу были вполне справедливы. Старая дворянка никак не могла бы прослыть добродушной и щедрой. Жизнь ее протекала в полном одиночестве, в заносчивых чудачествах и нескрываемой злости. Только безвыходная нужда могла принудить кого бы то ни было подняться по невеселой лесенке в ее квартиру.

У Шарлотты Корде д'Армон не было выбора, когда она пришла к г-же Бреттевилль, своей тетке, просить приюта. Не скрывая неприятного удивления, старая дама отвела племяннице комнату в конце своей квартиры, с окнами на запущенный, скучный двор. Разложив скудный багаж, молодая девушка, предоставленная самой себе, могла вновь с горькой грустью передумать пережитое. «Благородное» происхождение г-на Корде д'Армон помогло ему устроить дочь в одном из наиболее аристократических монастырей Франции: девицы дворянских семей, как правило, воспитывались в стенах монастырей.

Шарлотта, однако, избегала блестящего общества; она принадлежала к нему по рождению, но бедность с раннего детства поставила ее вне этого круга, отчего самолюбие девушки, гордившейся родством с великим драматургом Корнелем, непрестанно страдало. Не желая унижаться, Шарлотта искала одиночества и рылась в запыленных библиотечных шкапах. Она много читала, пополняя жалкое литературное образование.

Снедаемая честолюбием, скрытная и упорная, она считала, что предназначена не для обычной судьбы, а для подвига и громкой славы. В таком настроении, покинув монастырь, надменная, болезненно самолюбивая барышня Корде вернулась в семью отца.

Революция, причудливым эхом докатившаяся до деревни, заставила юную аристократку встрепнуться. Она ждала, что воскреснут старые, любимые герои, но как не похожи оказались санкюлоты на патриции древнего мира! И она вздрагивала от отвращения и брезгливости к «презренной черни», которая посмела посягнуть на священные для нее титулы, гербы, традиции и предрассудки.

Живая во плоти революция казалась ей отвратительной. Рушилось привычное, почитаемое, и, не в силах понять происходящее, Шарлотта нашла для себя опору в ненависти к «чудовищам Горы», к якобинцам.

Оставив родную семью после ссоры с отцом, Шарлотта очутилась в Кане.

С жадностью барышня Корде слушает сплетни и шепоты о страданиях парижан, отданных на растерзание «людоедам-якобинцам». Популярнейшей фигурой, бешено любимой и бешено ненавидимой, был Марат, слишком большой человек, чтобы внушать маленькие чувства. Шарлотта верила всему, что измышляли о нем враги. Мысль о героическом поединке с Маратом смутно начинает мелькать в ее голове.

Когда в борьбе с якобинцами жирондисты потерпели поражение, Шарлотта Корде встретила в Кане с мятежными депутатами Жиронды как со своими естественными сторонниками и почти единомышленниками.

Однако ни Петийон, ни Барбару, вожди Жиронды, не заметили в здоровой и крепкой провинциалке глубокого славолубия и действенного фанатизма. Ничем не выказывая своих настроений, Шарлотта схватывала каждое слово их речей, в которых, клеветая на якобинцев, они призывали граждан к «спасению революции», к походу на Конвент. Шарлотта вместе с родной ей средой мелкопоместного дворянства готова была довольствоваться высокопарной конституцией, ограничивающей монархию. Не случайно ее излюбленной газетой, которую она регулярно читала, был роялистский листок «Друг короля». Демократическая диктатура казалась Шарлотте преступлением против высоких идеалов либерализма.

Пламенное красноречие жирондистов укрепляло ее собственные чувства и накаляло ненависть к «тиранам» и «захватчикам» власти якобинцам. Когда на бугорчатом канском поле 7 июня 1793 года жирондисты устроили неудачный парад своих добровольцев и ничтожная горсточка в тридцать человек продефилировала перед любопытными обывателями, Шарлотта усомнилась в успехе такого способа борьбы. Лицо ее исказилось от разочарования: Петийон, стоявший рядом, взглянув на Шарлотту, спросил шутливо, не любит ли и не оплакивает ли она кого-нибудь из тридцати. Шарлотта окинула его удивленно-презрительным взглядом: она никак не могла привыкнуть к тому, что ее считали бесцветной посредственностью — всецело во власти маленьких женских слабостей. Можно предполагать, что именно после жалкого смотра жирондистских волонтеров на канском поле, показавшегося ей смотром мужской трусости, Шарлотта окончательно определила свою роль и решила на террористический акт против Марата. Наивность под-

сказывала ей надежду, что смерть Марата будет концом революции «черни». Она смотрела на разворачивавшуюся гигантскую историческую схватку глазами монастырских наставниц, офицеров, расквартированных в Кане, и общества, в котором вращалась тогда госпожа Бреттевиль. Громовые удары классовых битв сплотили ее с этими людьми, которые подчиняли ее своим традициям, интересам и мировоззрению. Они вложили в нее злобу к якобинцам и слепое бешенство против Марата; подчиняясь силе этого неодолимого классового гипноза, она взялась за осуществление своего страшного плана.

Тщательно, как всегда, одетая, Шарлотта отправилась в интендантство на прием к Барбару. Она обратилась к нему с просьбой дать ей рекомендательное письмо в Париж, к члену Конвента, которого якобы хотела просить о помощи своей обедневшей подруге. Барбару дал ей рекомендацию.

Придумав предлог отъезда, она холодно прощается с г-жей Бреттевиль, которой сумела не стать помехой, с театральной почеркнутостью раздает свои рисовальные тетради соседским детям и, захватив небольшой сундучок, усаживается в полинявший грязный дилижанс, идущий в Париж.

Плохо кормленные лошаденки по пыльным дорогам медленно влекут тряскую карету. Потные пассажиры, перебивая дремоту, хвастливо рассказывают о дорожных нападениях, которым они подвергались. В лесах бродят вооруженные отряды. Часто это просто грабители, но иногда и обездоленные бедняки, которые, как и крестьяне из Вандеи, нищие, голодные и темные, верившие обещаниям монархистов и церковников, выступили на защиту короля и теперь скрывались в лесах. На лесных перегонах разговор становился неуверенным, шорохи и падающая ветка вызывали панику, визг женщин, слезы детей и растерянные возгласы мужчин. Едва опасное место остается позади, разговоры оживляются и завязываются знакомства. Шарлотта привлекает внимание двух-трех молодых людей. Один из них на другой день, к концу путешествия, делает ей брачное предложение.

Детали этой поездки Шарлотта иронически описала в письме к жирондисту Барбару, прячущемуся в Кане.

11 июля, в четверг, выйдя из дилижанса в Париже, Шарлотта отправляется на улицу Вьё-Огюстен в рекомендованную ей гостиницу «Провидение». Слуга отводит ее в комнату № 7.

И вот цель достигнута. Шарлотта в Париже, в городе, о котором она так много слыхала. Против ее ожидания, парижане не казались запуганными и изможденными. Нигде на улицах не было следов крови или зверств. Но Шарлотта оставалась недоверчивой и враждебной: в спокойных лицах окружающих ей чудилась мольба о спасении. Однако, прислушиваясь, она не удавливала нигде сочувственного слова о жирондистах: казалось, их уже забыли, хотя судебный процесс над ними еще не начинался.

Верньо, Бриссо были в тюрьмах, остальные бежали и скрывались; лишь несколько наиболее лояльных оставались на скамьях Конвента. К одному из уцелевших, к депутату Ланс-Дюперре, направлялась Шарлотта в надежде добиться под любым предлогом пропуска в Конвент на заседание. Не зная об ухудшении здоровья Марата, Шарлотта Корде хотела убить его публично в Конvente.

Ланс-Дюперре отнесся к показавшейся ему наивной провинциалке с большим вниманием, так как Шарлотта передала ему письмо Барбару. Выслушав ее вымысел о страданиях находящейся в Швейцарии подруги, он обещал помочь. От него же она узнала, что Марат не выходит из своей квартирки. Желание Шарлотты убить «друга народа» в Конvente тем самым становилось невыполнимым. Прощаясь с любезным депутатом, Шарлотта, не посвящая его в свой план — уничтожением Марата открыть дорогу контрреволюционному наступлению на Конвент, — тем не менее не смогла удержаться от патетических восклицаний, которых Ланс-Дюперре не понял как следует: «Бегите, бегите еще до завтрашнего вечера... Примите мой совет. Вы бессильны в Конvente, бегите и соединитесь с друзьями в Кане».

В субботу, на рассвете, Шарлотта снова вышла из гостиницы «Провидение», направляясь в Пале-Рояль. В шесть часов утра просыпался далекий Кан, но мирно спал Париж. Магазины были закрыты, и в ожидании пробуждения города Шарлотта сидела на каменной скамье под аркой. Часом позже она зашла к ножовщику и выбрала кухонный нож с черной рукояткой, в бумажном футляре, за который заплатила 40 су. С ножом, спрятанным на груди под кружевом блузки, Шарлотта подошла к извозчику, предложив ему ехать к Марату. Выслушав адрес, извозчик двинулся на улицу Кордельеров. В очень узенькой улочке было полутемно, и дом, под сводами которого жил Марат, казался особенно убогим и мрачным. Стараясь сохранять невозмутимость,

внутренне любясь собой, Шарлотта взошла на первый этаж и потянула звонок. На площадку перед дверью проникал через оконце, выходящее на лестницу, сложный аромат кухни.

Дверь отворила Симонна Эвар. Она разглядывала Шарлотту с подозрительной внимательностью. Тщетно посетительница настаивала на необходимости видеть Марата. Никакие уговоры не могли заставить Симонну нарушить покой мужа. Тогда Шарлотта отдала заранее приготовленное, искусно составленное письмо, в котором писала: «Я приехала из Кана. Вы, руководясь любовью к народу, безусловно найдете желательным ознакомиться с подготовляющимися там заговорами. Я ожидаю ответа». Желая проникнуть к Марату, Шарлотта блестяще сумела притвориться и с неподражаемым хладнокровием разыграть роль его сторонницы. Любая ложь, какое угодно коварство кажутся ей естественными, и она действует с непринужденностью, побеждающей подозрения.

Отложив убийство до вечера, Шарлотта вернулась в гостиницу. Запершись в своей маленькой, скудно обставленной комнатке, она пишет завещания-письма. Одно из этих посланий озаглавлено: «Призыв к потомству». В нем монархистка Шарлотта Корде изложила свою убогую политическую философию, наскоро усвоенную ею в Кане от жирондистов, и в обычном для эпохи трескучем риторическом стиле пересказала то, что твердила ежедневно монархическая и жирондистская пресса.

Желая возвысить в глазах потомства значение своего намерения, Шарлотта писала:

«О Франция, спокойствие твое зависит от исполнения законов; я отнюдь не нарушаю их, убивая Марата, осужденного вселенной; он стоит вне закона».

Дописав письма, она переделалась, спрятала нож под модную в те годы косынку на груди и на случай, если опять не будет принята Маратом, набросала записку следующего содержания:

«Я написала вам, Марат, сегодня утром; получили ли вы мое письмо, смею ли я надеяться на минуту внимания, если вы его получили? Я надеюсь, что вы не откажете мне, принимая во внимание тот интерес, который имеет это дело; достаточно того, что я очень несчастна, чтобы иметь право на вашу защиту».

Вечером извозчицья карета привезла ее опять на ули-

цу Кордельеров, дом № 20. Заслышав отрывистый, энергичный звонок, Жанетта Марешаль, с жирной ложкой в руке, побежала открывать дверь. В дверях стояла девушка в изящном коричневом платье и высокой черной шляпе. Помня наказ не тревожить больного бесцельными посещениями, Жанетта загородила дорогу. Ей помогала в этом Барбара Обэн, но Шарлотта, перебиваемая женщинами, решительно настаивала на приеме. На шум и споры в прихожую вышла Симонна Эвар, она узнала приходившую утром посетительницу и предложила ей подождать в столовой ответа Марата. Кроме женщин, в комнате находился комиссионер газеты Марата Лоран-Ба, принесший бумагу для помещавшейся тут же типографии «Друга народа».

Очень скоро Симонна принесла утвердительный ответ и пропустила Шарлотту к Марату. Прикрыв дверь, она вышла в прихожую, но, что-то вспомнив, опять вернулась в ванную, захватив с собой графин с водой для больного. Уходя, Симонна задала несколько незначащих вопросов мужу и взяла пустую тарелку с окна. Марат остался наедине с Шарлоттой, которая, не возбуждая подозрений, уселась на жесткий стул возле ванны. Она внимательно осматривала Марата, вдохновляя себя на убийство. Марат был болен и слаб — тем легче его убить. Дрожащим голосом, с лицемерными слезами на глазах Шарлотта заговорила о контрреволюционной работе восемнадцати жирондистских депутатов Конвента в Кальвадосе. Увлекаясь своей ложью, она описывала Марату мощные, воинственные, ими намеренные отряды, идущие к Парижу, чтобы освободить столицу от «анархистов». Возмущение Марата, удачно подогреваемое посетительницей, быстро возрастало. «Назовите мне имена заговорщиков», — сказал он и взял перо, чтобы записать их в своей тетради. Шарлотта, удовлетворенная поднимающимся в ней чувством ярости, стала перечислять и без того известные имена. Она патетически возмущалась и с деланной ненавистью проклинала контрреволюционеров. Марат, думая успокоить ее, сказал: «Все они будут гильотинированы». В ту же минуту, отбросив уже ненужные уловки, Корде вскочила, ловко выхватила нож и вонзила его в открытую грудь трибуна. Страшный удар пришелся по сердцу. «Ко мне, мой друг!» — захлебываясь поднявшейся к горлу кровью, вскричал Марат. Глаза его потускнели и закатились. Вода ванны стала пунцовой. Почти инстинктивно, не глядя на жертву, убийца бросилась к двери. Ей на минуту

преградили путь Симонна, бежавшая на хриплый зов мужа, Варвара Обэн и Жанетта Марешаль. Они пробежали мимо Шарлотты, сразу же понявшие, охваченные нечеловеческим горем и надеждой. Истекая кровью, Марат умирал. В то время как три женщины тщетно пытались спасти его, Шарлотта, забыв о классических образах, бросилась бежать и была уже в прихожей, когда Лоран-Ба, случайно задержавшийся в квартире, догнал, схватил ее и с силой толкнул в комнату. Потеряв равновесие, Шарлотта упала на пол. Тотчас же с лестницы повалили люди, неведомым чутьем уловившие внезапно разыгравшуюся трагедию.

Не было в Париже более знаменитого, более грозного и обожаемого человека, чем Марат. Марат был зорким глазом буржуазной революции, воплощением твердости и борьбы. С большими и малыми горестями, с сомнениями и справедливой жалобой шло к своему вождю третье сословие.

Горе парижской бедноты было теперь беспредельно. Марата громко и единодушно оплакивал народ, так недавно еще венчавший своего друга лаврами и триумфальным шествием.

У дома Марата через час после убийства стояли тысячные толпы. И в то время как кровотечение вдруг прекратилось вместе с биением сердца Марата, Варвара Обэн, не отвечая на вопросы, втолкнула в спальню, куда перенесли тело, привезенного ею доктора. Ее единственный глаз опух от слез, и мокрый стеклянный казался ожившим и зрячим.

Жанетта Марешаль, притихшая и растерянная, отупело смотрела на незнакомых людей, бесцельно переходивших из комнаты в комнату. Мужчины и женщины вытирали слезы, и лица их, искаженные отчаянием, были страшны при неясном свете зажженных ламп и свечей. На улице кучер, привезший Шарлотту Корде, еле выдерживал напор любопытных расспросов. Он едва разглядел свою пассажирку, но теперь весьма охотно описывал ее возбужденной толпе. Всех удивляло, что убийцей была молодая женщина; взрыв бешенства сопровождал утверждение, что это аристократка.

Была уже ночь, когда явился полицейский комиссар Гальяр-Дюмениль и приступил к допросу. Перевести убийцу в тюрьму было нелегким делом: возмущенная толпа требовала самосуда. Видя волнуемую толпу, посылающую ей проклятья, с трудом охраняемая от мести народа, созвавшего величину понесенной утраты, Шарлотта, преиспол-

ненная гордостью, любящая собой, презрительно сказала: «Несчастные, вы хотите моей смерти за то, что я спасла вас.» Втайне она надеялась услышать возгласы сочувствия и одобрения. Надежды эти не оправдались, и оставалось только свысока думать о «тупоумии черни» и рассчитывать на грядущую оценку истории.

С той самой минуты, как Шарлотта очутилась в тюрьме Консьержери, она тщательно продумывает каждое слово, позу и жест, которые должны были прославить и возвеличить ее имя. Она пишет высокопарное послание к Барбару, где просит, между прочим, Барбару позаботиться о ее родных и недвусмысленно прибавляет: «Я ничего не говорю моим милым друзьям аристократам, память о них я сохраняю в своем сердце».

Отцу она пишет, оставаясь по-прежнему деланно хладнокровной:

«Простите меня, мой милый папа, что я без вашего разрешения распорядилась своей жизнью... Как только у народа раскроются глаза, он будет рад освобождению от тирана. Надеюсь, что вас не будут мучить, во всяком случае я думаю, что вы в Кане найдете защитников. Я прошу вас забыть меня или, вернее, радоваться моей участи, — она прекрасна. Обнимаю мою сестру, которую я люблю от всей души, также всех моих родных, не забывайте стиха Корнея:

Позорно преступление, не эшафот.

Завтра в восемь часов меня судят.

Корде».

Семнадцатого июля 1793 года Шарлотта Корде предстала перед революционным трибуналом. На ней было лучшее из ее платьев и изящный, обшитый лентой чепец, заказанный специально для суда. Изысканным внешним видом она еще раз хотела подчеркнуть свое превосходство, свою принадлежность к аристократии и презрение к «революционной» столь ненавистной ей «черни». Выбранный ею защитник — якобинец Дюльсе де Понте Кулан — не явился, так как не был уведомлен о желании обвиняемой.

Лишь в начале заседания суд назначил защитником случайно находившегося в зале якобинца Шово-Логарда. Защита была нелегкой: в залу суда непрерывно доносился глухой ропот толпы, требовавшей смерти убийце. Мертвый «друг народа» стал еще более популярным. Траурные бан-

ты, брошки и повязки с его портретами украшали в эти дни не одну грудь в Париже. Новорожденных называли именем того, кто удостоился вопреки предположениям Шарлотты быть похороненным в Пантеоне. День и ночь в уединенный домик, бывшую часовню, декорированную Давидом, шли бесконечные вереницы желающих поклониться вождю. От гроба Марата народ двигался к зданию суда, требуя головы убийцы.

Шово-Логард, обдумывая свою защитительную речь, сел подле самоуверенно оглядывавшей судей Шарлотты.

Суд начался. Первой свидетельницей вызвали Симонну Эввар. Ее появление было встречено всеобщим сочувствием. Несчастье не сломило стойкость духа революционерки. Огромным напряжением воли сдержав рыдания, «вдова Марата», глядя в упор на Шарлотту, рассказывала подробности его виденного.

Все, что говорила гражданка Эввар, было так правдиво, что Шарлотта не могла прервать ее ни одной из тех подготовленных пышных фраз, которые должны были поразить слушателей.

Высокое мужество, искренность и простота Симонны, ее беспредельное горе еще более подчеркивали ничтожество женщины, убийцы Марата.

Общественный обвинитель резко спросил: «Кто толкнул вас на убийство Марата?» — «Преступления,— громко отвечала подсудимая,— в которых он виноват со времени революции».

Все ответы Шарлотты полны искусственного пафоса. Она словно находится на сцене. Истерическая взвинченность, превосходное позерство маскировали ее слабость.

Во время суда Шарлотта заметила молодого военного, который рисовал ее портрет. Улыбнувшись, она повернула к нему голову и постаралась придать лицу выражение, делавшее ее наиболее привлекательной. Она цеплялась за каждую возможность сохранить свое имя в истории.

Эта двадцатипятилетняя девушка, непривлекательной наружности никогда не вызвала ни чьей симпатии. Она не узнала ни радости любви, ни материнства и озлобилась на человечество и жизнь. Самой большой ее гордостью была принадлежность к аристократии, но со времени революции самолюбие ее непрерывно страдало. Фанатическая монархистка, она искала действительного выхода своей ненависти к происходящему во Франции, а также неудовлетворенному

стремлению выделиться из толпы, привлечь к себе внимание, которого никогда не могла добиться. Ради этого она решила пойти на преступление.

Внешне равнодушно выслушала Шарлотта приговор, который гласил следующее: «Единогласный вердикт присяжных устанавливает, во-первых, что Жан-Поль Марат, депутат Национального Конвента, 13 июля сего года, между 6 и 7 часами вечера, был поражен ножом в грудь в то время, как сидел в ванне, и тотчас скончался от этого удара; во-вторых, что виновницей этого убийства была Мария-Анна-Шарлотта Корде; в-третьих, что это убийство было совершено ею предумышленно и из контрреволюционных соображений. Ввиду этого Мария-Анна-Шарлотта Корде присуждается к смертной казни. Постановляется, что она, одетая в красную рубаху, будет отвезена на место казни, что ее имущество отходит к республике и что сей приговор, по предложению публичного обвинителя, будет приведен в исполнение на площади Революции».

После объявления приговора Шарлотта попросила, чтобы художнику, начавшему ее портрет во время суда, разрешили его окончить в тюрьме.

Гражданин Гойер получил разрешение дорисовать портрет убийцы Марата.

Оставалось лишь несколько часов до казни; все это время Гойер провел в камере смертницы. Она позировала, хвалясь совершенным ею убийством.

После двухчасового сеанса портрет был уже почти готов, и Шарлотта, считавшая себя неплохой художницей, указывала Гойеру детали, требующие изменения. Стук в дверь прервал оживленную беседу, и на пороге появился палач, как всегда безразличный и деловой. Он нес красную рубашку, в которой казнили убийц, и ножницы для того, чтобы отрезать волосы осужденной. «Уже...» — прошептала Шарлотта, но тотчас же, срезав русые недлинные волосы, ниспадавшие по плечам, одну прядь с кокетливой улыбкой протянула художнику в виде благодарности за его работу. Ей хотелось, чтобы Гойер сделал копию с портрета и отправил в Кан.

Полил крупный летний дождь в тот момент, когда шаткая повозочка двинулась к месту казни. Несмотря на ливень, улицы были запружены возбужденной толпой, встречавшей тележку проклятиями. Рассвирепевший народ провожал убийцу Марата бранью до гильотины.

Казнь Шарлотты, удовлетворенно встреченная санкюлотами Франции, сделала ее героиней в глазах аристократов и жирондистов. Петитон, Барбару, Бюзю, Саль, когда весть о смерти Марата дошла до Кана, превозносили в речах и письмах Шарлотту, в которой будто бы подмечали и ранее черты великой «мстительницы».

13 июля нож монархической террористки, разорвав угасавшее сердце Марата, не нанес губительного удара якобинской партии.

Политические соратники Марата продолжали стойко защищать интересы республики до тех пор, пока это было в их силах.

Любовь и верность памяти Марата и его идеям пронесла до конца своей жизни и Симонна Эврар.

После смерти Марата его жена и верный соратник деятельно принялась за издание сочинений «друга народа».

В ноябре 1794 года она выпустила проспект будущего издания. Однако уже в феврале 1795 года, в пору термидорианского конвента, окрепшая реакция запретила это начинание. Издание сочинений Марата было прекращено.

Позднее, вместе с сестрой Марата, Альбертиной, Симонна встречалась с бабувистами и, возможно, знала о «заговоре равных».

История не сохранила обширных сведений об этой преданнейшей подруге одного из самых замечательных деятелей буржуазной революции французов.

Симонна Эврар более чем на тридцать лет пережила «друга народа». Она умерла в 1824 году, до последнего мгновения оставаясь верной памяти Марата и идеям якобинцев.

ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА

Женщины
ЭПОХИ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1958

Галина Серебрякова

ЖЕНЩИНЫ
Э П О Х И
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие А.З.Манфреда

Теруань де Мерикур

Симона Эврар

Манон Ролан

Клер Лакомб

Люсиль Демулен

Елизавета Леба

Мадам Тальен

Жозефина Бонапарт

Веб-публикация: *Vive Liberta*

Люсиль Демулен



В одной из невысоких светлых зал Музея Великой французской революции в Париже висит портрет молодой дамы, нарядно одетой по моде конца XVIII столетия. Масляные краски заметно потускнели на кукольном мечтательном лице. Это Люсиль Демулен, жена славянолюбивого трибуна Первой республики, «нежная Люсиль», многократно воспетая поэтами и прославленная историками, несмотря на то, что у нее не было никаких заслуг перед революцией, в кипучую и смутную эпоху которой она жила, никаких талантов, кроме умения быть «необыкновенной супругой».

Вот незатейливый узор ее жизни и характера.

В царствование Людовика XVI Люксембургский сад, расположенный в центре старого Парижа, был не менее посещаем, нежели теперь. На просторной, тщательно вычищенной площадке, где в большом бассейне плавали бумажные лодочки, погибавшие от порывов ветра, неизменно тол-

пилась детвора, бросающая мячи вслед пестрым шуршащим змеям. Расфранченные кормилицы, служанки, чопорные воспитатели и кокетливые матери стерегли, окликали и подолгу поучали девочек, затянутых в корсеты и изнемогающих под тяжестью длинных, широких платьев, и мальчиков с туго завитыми кудрями, в широких шляпах, в атласных костюмчиках, отделанных кружевами.

В густых аллеях, куда сквозь листву надменно засматривали каменные королевы Франции, статуи которых разбросаны были по саду, нередко мелькали пестрые тафтовые кафтаны элегантных кавалеров и шуршали затканые цветами юбки богатых женщин, прячущих лица за веерами.

Люсиль Дюплесси, дочь богатого чиновника королевского министерства финансов, в течение многих лет была постоянной посетительницей Люксембургского сада, расположенного близ дома ее отца. Она приходила туда в сопровождении матери, удачно молодящейся красавицы, падкой до любовных утех. Мать и дочь были очень дружны и откровенны друг с другом, тем более что госпожа Доронна Дюплесси нуждалась в наперснице в дни сердечных тревог и волнений. Люсиль, посвященная во все «тайны» матери, с детства видевшая раздоры родителей, рано потеряла интерес к несложным любовным приключениям и стала желать для себя большой, всепоглощающей любви к верному, доброму мужу. Имея 100 000 франков приданого, барышня Дюплесси относилась недоверчиво к многочисленным, казавшимся ей расчетливыми поклонникам и мечтала о появлении бескорыстного «принца», которому отдаст «руку, сердце и деньги».

В небольшом имении родителей в лунные ночи Люсиль не спала до рассвета. Лунные ночи уподобляли неровный сад со множеством бугорков и клумб кладбищу, белые статуи фавнов и нимф — могильным памятникам и надгробьям. Но Люсиль не замечала этого и не думала о смерти, она плакала от нестерпимой жажды любви. Она была самой обыкновенной девицей, склонной к сентиментальности, выросшей в условиях довольства, роскоши и безделья.

Книги мало интересовали барышню Дюплесси. В дневнике она записывала по вечерам свои горести и печали, наибольшими из них была скорбь по мертвой птичке, найденной на террасе дома, или жалость к распотанному цветку. Мать посвящала ее в свои сомнительные романтические

ские приключения, и признания эти будоражили воображение шестнадцатилетней девушки.

В Люксембургском саду еще подростком Люсиль встретила бедно одетого студента, который долгое время смущал ее своим уродством и странным поведением. Он был ряб, с огромным вспухшим ртом и с носом кривым, словно у верблюда. Люсиль часто видела, как неуклюжий незнакомец, думая, что находится в одиночестве, начинал говорить сам с собой, смеяться, встряхивать кудрями, ходить важно и прямо, но, едва замечал чье-нибудь присутствие, тотчас же сгибался, замолкал и становился робким, словно обиженным. Видимо, он стеснялся своей некрасивости и потрепанного костюма.

Барышня Дюплесси всегда, сама не зная отчего, жалела молодого человека, и когда однажды, волнуясь, он подошел к ней в Люксембургском саду, отнеслась к нему доверчиво и внимательно. Очень скоро после знакомства студент, назвавшийся Камиллом Демуленом, родом из сонного городишки Гиза, признался девушке в любви, и любовь эта не была отвергнута. Люсиль ввела Камилла в родительский дом. Снисходительная к молодым людям госпожа Дюплесси-мать, теперь поверенная сердечных дел дочери, встретила гостя с большой добротой, но чиновник министерства финансов презрительно отвернулся, лишь только Камилл Демулен, заикаясь, начал рассказывать кое-что из своей биографии.

Сто тысяч приданого Люсиль не могла преодолеть препятствием между ней и Камиллом. Когда Демулен попытался попросить у господина Дюплесси руку его дочери, то получил столь краткий и решительный отказ, что не смог уже больше бывать в доме Люсиль; снова Люксембургский сад стал убежищем любви молодых людей. Чего только не говорил неутомимый в разговорах молодой адвокат горюющей невесте. Он предлагал ей обвенчаться тайно, умалчивая о том, что не имел постоянной квартиры и обеда даже для самого себя. Упрямый отец не слал ему денег, требуя, чтобы сын приехал заниматься адвокатурой в Гиз, как это сделал его школьный товарищ молодой адвокат Максимилиан Робеспьер, недурно устроившийся в родном городе Аррасе. Но Камилл предпочитал существовать впроголодь, оставаясь в Париже, где, он не сомневался в этом, его ожидало блестящее будущее. Уверенность Демулена в грядущих успехах подбодряла Люсиль, она твердо верила, что «гений» не может остаться незамеченным и нищим. 1789

год оказался волшебной палочкой, принесшей влюбленным желанный брак.

Люсиль, мало читавшая и образованная лишь настолько, насколько это было необходимо для девушки с «приданным», обрадовалась революции, как доброй свахе, которая облегчила устройство семейного гнезда. Камиллу революция дала славу, которую он ценил превыше всего.

Двенадцатого июля 1789 года, едва Неккер, считавшийся ставленником народа на министерский пост, получил отставку, Камилл Демулен протиснулся на страницы истории. Было около четырех часов дня. Нарастающий гул приближающегося восстания уже сотрясал Париж. Осушив для храбрости кружку вина, Камилл вышел из «Café de foi» и смешался с возбужденной толпой, переполнявшей Пале-Рояль. Потрясая пистолетом, он влез на стол, невзирая на вынырнувших со всех сторон полицейских. Несколько тысяч человек повернули с любопытством голову, выискивая глазами человека, который, заикаясь, громко кричал, требуя к себе внимания: «Граждане, нельзя терять ни одной минуты. Я сейчас из Версаля — Неккер получил отставку. Эта отставка предвещает новую Варфоломеевскую ночь для патриотов. Сегодня вечером выступят швейцарские и немецкие батальоны, чтобы уничтожить нас. Нам остается одно только спасение: взяться за оружие, установив условный знак, чтобы узнавать друг друга. Пусть всякий, подобно мне, прикрепит к своей шляпе лист с этих деревьев. Наступил час, страшный час столкновения между угнетателями и угнетаемыми, и у нас один лишь пароль: «Безвременная смерть или вечная свобода». Да раздастся клич: «К оружию!»

Страстность неизвестного оратора заразила толпу. Грозный клич «к оружию» пополз, вспыхивая, как огонь по сухой траве. Двумя днями позже была взята Бастилия, и Камилла опять видели впереди восставших. Заикающийся трибун легко приобрел известность.

В коллеже святого Людовика, где он много лет жил в интернате вместе с Робеспьером, оба мальчика получили основательное классическое воспитание. Брут, Спартак, братья Гракхи, пафос древних ораторов не раз вызывали слезы восторга или вопли бешенства по адресу тиранов у впечатлительного Камилла, и теперь революция сулила осуществление мечтаний Камилла и программы «третьего сословия».

Бросив неудачные попытки стать знаменитым адвокатом, Камилл становится рьяным участником революционных

схваток. Злопамятный, вспыльчивый, неглубокий, но острый, он легко обрел то поприще, которое может обеспечить ему видное положение и влиятельную роль. Камилл берется за перо, строчит и распространяет острые и пронизывающие, как штык, памфлеты против контрреволюции, против иностранного монархического блока, против аристократов и вскоре против короля. Он основывает газету «Революция Франции и Брабанта», в которой, изощряясь в злых, но всегда поверхностных шутках, красноречиво отстаивает демократические идеи. Его ближайшие друзья этого времени: Робеспьер, Бриссо, Фрерон, Петийон — все члены клуба якобинцев. Удача во всем следует за Камиллом, он добивается того, что теперь уже господин Дюплесси почитает честью для себя брак дочери с подающим столь большие надежды недавним оборванцем Демуленом.

Одиннадцатого декабря Камилл, получив согласие родителей Люсиль на брак с нею, раздираемый противоречивыми чувствами: любовью, бескорыстием, удовлетворением по поводу свалившегося богатства, пишет отцу: «Сегодня, 11 декабря, я, наконец, вижу себя на вершине своих желаний. Счастье долго заставило себя ждать, но, наконец, оно пришло, и я так счастлив, как только можно быть счастливым на земле. Наконец-то родители отдают мне прелестную Люсиль, о которой я так часто вам говорил, которую я люблю уже восемь лет, и она согласна. Только что ее мать принесла мне эту весть со слезами радости на глазах. Неравенство имущества — господин Дюплесси обладает 20 000 ливров — являлось до сих пор преградой моему счастью, отец был ослеплен предложениями, которые ему делали, он отказал претенденту со 100 000 франков, Люсиль отказала друтому с рентой в 25 000 ливров. Вы сейчас узнаете ее по одной только ее черте: как только мать, поручая мне свою дочь, провела меня к ней в комнату, я бросился к ногам Люсиль и, к великому удивлению, слышу ее смех; я поднимаю глаза и вижу, что с ее глазами дело обстояло не лучше, чем с моими, она совсем растворилась в слезах, слезы лились ручьями, но она вместе с тем и смеялась. Никогда еще не видел я такого очаровательного зрелища, и я в мыслях не мог допустить, что природа и чувство — два столь разительных контраста — могут в такой степени сочетаться. Отец ее сказал мне, что не намерен более откладывать наше бракосочетание, он хочет только передать мне раньше те 100 000 франков, которые он обещал в приданое своей

дочери, и для этого он отправится со мною к нотариусу, как только я пожелаю. Я ответил ему: «Вы капиталист. Вы всю свою жизнь копались в деньгах, я не могу и думать о брачном контракте, а такая сумма смутила бы меня. Вы слишком любите свою дочь, и мне незачем быть представленным при составлении контракта. Вы от меня ничего не требуете, поступайте, следовательно, с контрактом как вам угодно». Он, кроме того, дает мне половину своего столового серебра, которое стоит около 10 000 франков. Прошу вас: не предавайтесь слишком большой радости. Будем скромны и в довольстве... Мы можем пожениться в течение недели. Моя милая Люсиль и я не желаем, чтобы нас еще дольше разлучали. Не навлекайте этой вестью на нас ненависти тех, которые завидуют нам, и заключите вашу радость в сердце, как это делаю я, или дайте ей еще проникнуть в сердце моей милой матушки, моих сестер и братьев. Я теперь имею возможность помочь вам, и это составляет значительную долю радости. Моя возлюбленная — моя жена — ваша дочь и вся ее семья обнимают вас...»

Двадцать девятого декабря 1789 года в церкви Сен-Сюльпис, величественной, суровой и печальной, как феодальный замок, по католическому обряду Демулен обвенчался с Люсилью, которая плакала от радости, принимая поздравления Бриссо, Робеспьера и Петийона, свидетелей бракосочетания. Пышностью брачной церемонии Камилл снова спешит похвастать перед родными в Гизе, всегда к нему столь несправедливыми и никогда не ценившими его должным образом. Старик Демулен дрожащими руками будет протягивать письмо сына друзьям и соседям, удивляясь втихомолку не тому, что «свидетелями были Петийон и депутат Национального собрания Робеспьер, Бриссо де Варвиль и Мерсье — краса журналистов», а тому, что его непутевый сын, так выгодно женившись, породнился с почетным буржуа, господином Дюплесси.

Можно ли описать счастье, переживаемое Люсилью: отныне навсегда исчезнут в ней склонность к меланхолии, слезливость и унылые речи, она становится неутомимой спутницей мужа, вникающей во все его дела, одинаково увлекающейся штопкой его чулок и перепиской его статей, которые волнуют ее своей страстностью. Квартирка Демуленов, удобно и хорошо обставленная тещей и тестем Дюплесси, согрета неутомимыми заботами молодой хозяйки. Усталые патриоты знали, что ужин у гражданки Демулен

всегда подадут отличный, вино будет старое и первосортное, разлитое по хрустальным графинам с переплетенными инициалами «К» и «Л». Женившись, Камилл получил все, о чем смел раньше только мечтать: жену, стремящуюся предвосхищать его желания, собственную квартиру в несколько комнат и деньги, обеспечивающие на много лет вперед отличное существование. Он чувствовал себя всеобщим баловнем и кумиром.

В имении Дюплесси, переименованном после революции в «Замок равенства» вместо «Замка королевы», прохаживаясь по дорожкам в саду, Демулен, жестикулируя, любил поораторствовать, репетируя предстоящие в клубе якобинцев речи. Господин Дюплесси слушал его подчас восхищенно, но чаще сердито ворча в ответ на слова зятя, казавшиеся ему то пустой болтовней, то возмутительной проповедью кровожадности. Господин Дюплесси боялся революции, но еще больше падения курса ценных бумаг, в которых заключалось его состояние. Одна Люсиль не уставала восхвалять все, что делал или говорил муж, и когда у нее не было убедительных доводов, она обиженно и упрямо повторяла: «Ну что ж, когда я и нахожу недостатки в Камилле, я их люблю».

К политической деятельности мужа Люсиль относилась, как относилась бы ко всякой другой его профессии. Будь Демулен врачом, Люсиль почитала бы медицину и лечила бы вместе с ним больных; когда Камилл в 1792 году попробовал было заняться адвокатурой, Люсиль добросовестно вызубрила таблицы законов и утверждала, что юридические науки наиболее нужные и полезные для блага человечества. Если бы Камилл был монархистом, его жена ненавидела бы революцию, но Камилл был революционером, и этого было достаточно, чтобы определилось мировоззрение Люсиль. Главное и единственное необходимое для ее спокойствия было не расставаться с мужем, и она достигла того, что каждый день теснее соединял их. По вечерам, когда Камилл писал свои памфлеты и статьи для газеты, Люсиль обязательно сидела поблизости, занимаясь рукоделием или попросту раскачиваясь на качалке, покрытой веселыми подушечками. Едва Камиллу приходила в голову счастливая мысль, цветистое сравнение или цитата из древних, он патетически прочитывал жене, которая отвечала восторженным одобрением. Она гордилась тем, что не умела критиковать Демулена.

Шестого июля 1792 года у Люсиль родился сын, названный Горацием. Камилл собственноручно отнес сына в общинное управление, где мальчик получил республиканское крещение, без религиозных церемоний; его именем открыли первую книгу актов гражданского состояния. В заявлении о рождении сына Демулен писал: «Я хотел избежать упрека, который мог бы мне сделать когда-нибудь мой сын за то, что я клятвой связал его с теми религиозными взглядами, которые, быть может, не будут его взглядами, что при вступлении его в мир я связал его легкомысленным выбором с одной из 900 или еще более религий, исповедуемых людьми, тогда, когда он еще не узнавал своей матери».

После рождения ребенка Люсиль целиком отдалась семье, но события 10 августа, в которых участвовал Демулен, вырвали ее на время из сферы маленьких интересов домашнего быта. 10 августа 1792 года парижский люд штурмовал Тюильри и низверг Бурбонов, и в эти дни Люсиль впервые поняла, какую опасную профессию избрал ее муж. Она пишет в своем дневнике 12 августа:

«Восьмого августа я вернулась из деревни. Во всех умах царило уже сильное брожение. Хотели убить Робеспьера. Девятого у меня обедали марсельцы, мы были довольно веселы. После обеда все мы были у Дантона. Дантон был полон решимости. Я лично хохотала, как безумная. Они боялись, что из этого дела ничего не получится. Хотя я была далеко не уверена, я говорила им, как будто знала наверное, что удастся. «Но только как можно так смеяться», — сказала мне мадам Дантон. «Ах, — ответила я, — это, может быть, предзнаменование того, что я сегодня вечером буду много плакать...» Погода была прекрасна, мы прогулялись по улицам, было много народа. Мы снова вернулись и расположились перед кафе. Мимо нас прошли несколько санкюлотов с криками: «Да здравствует нация!», затем конные войска, наконец огромная масса народа. Меня объял страх. Я сказала мадам Дантон: «Вернемся домой». Она посмеялась над моими опасениями, но мой разговор об этом зародил и в ней беспокойство, и мы пошли. Я сказала: «Будьте здоровы, скоро вы услышите звук набата». Вскоре я увидела, как все вооружились. Камилл, мой дорогой Камилл, пришел с ружьем. О боже, я спряталась в алькове, закрыла свое лицо руками и заплакала, но тем не менее я не хотела выказать свою слабость и не решалась сказать Камиллу, что мне нежелательно его вмешательство в эти дела. Одна-

ко я уловила минутку, когда я могла говорить с ним без боязни быть подслушанной, и я высказала ему все, чего я опасалась. Он успокоил меня и сказал, что не оставит Дантона. Между тем я узнала, что он подвергался опасности.

Фрерон имел вид, как будто он решился на смерть. «Я устал жить, — говорил он, — я желаю только смерти». Я перешла в пустую гостиную, где не горел свет, чтобы не видеть всех этих приготовлений. На улице было пусто. Все люди разошлись по домам. Наши патриоты собрались уходить. Я уселась возле кровати, подавленная, уничтоженная, несколько раз я засыпала, и когда я пробовала говорить, то получалась одна чушь. Дантон прилег. Он не имел вида занятого человека, он почти совершенно не выходил из дома. Приближалась полночь. Несколько раз заходили к нему. Наконец он отправился в Коммуну. Кордельерский колокол звонил, звонил долго. Совсем одна, в слезах, на коленях у окна, уткнув лицо в платок, я прислушивалась к звону этого рокового колокола. Напрасно приходили люди меня утешать. Мне казалось, что я догадываюсь об их плане отправиться в Тюильри. Рыдая, я сказала им об этом. Я чувствовала, что упаду в обморок. Напрасно мадам Робер спрашивала о своем муже, никто ей не давал сведений. Она думала, что он пошел с предместьями. «Если он погибнет, — сказала она мне, — я не переживу его. Но этот Дантон — центр всего. Если мой муж погибнет, я буду в состоянии его заколоть». Камилл вернулся в час, он заснул на моем плече. Мадам Дантон была рядом со мной; она как будто готовилась встретить известие о смерти своего мужа. Я тоже легла и заснула под звон набата, который раздавался теперь со всех сторон. Затем мы встали. Камилл ушел, обнадежив меня, что не будет подвергаться опасности. Вдруг мне показалось, что раздался пушечный выстрел. Мы слышали крики и плач на улице, мы думали, что весь Париж плавает в крови. Затем мы набрались мужества и отправились к Дантону. Кричали «к оружию», каждый спешил туда. Мы хотим быть свободными. Ах, боже, как дорого приходится платить за это. Довольно долго мы оставались в неведении. Потом пришли люди и сказали нам, что мы победили. На следующий день, двенадцатого, я узнала, что Дантон стал министром».

О тех же событиях и последовавших затем своих успехах 15 августа Камилл сообщает:

«Дорогой мой отец!

Из газет вы узнали о событиях 10 августа. Остается мне сообщить вам о том, что касается меня лично. Мой друг Дантон милостью пушки стал министром юстиции, этот кровавый день должен был в частности для нас обоих кончиться нашим возвышением к власти или к виселице.

Он сказал в Национальном собрании: «Если бы я был побежден, я был бы преступником».

Дело свободы победило. Вопреки всем вашим пророчествам, что из меня ничего не выйдет, я достиг высшего положения, которое было доступно человеку моего происхождения; я далек от того, чтобы из-за этого стать более тщеславным, наоборот, теперь я гораздо менее тщеславен, чем десять лет тому назад, потому что теперь я стою меньше в отношении фантазии, пыла, таланта, темперамента и патриотизма, которых я не отделяю от чувства гуманности и любви к себе подобным, потому что все это остыло за эти годы.

Но моя сыновняя любовь не охладела, и сын ваш, ставший ныне генеральным секретарем департамента юстиции или тем, что обычно называется секретарем печати, надеется, что вскоре сумеет доказать вам это».

Во время процесса Людовика Люсиль становится постоянной посетительницей Конвента. Ей немного жутко, когда сторонники и противники смертного приговора королю распадаются в дебатах до того, что вот-вот готовы броситься в драку друг с другом. Но она твердо помнит, что ей, по примеру Камилла, нужно быть за казнь короля, и, когда участь Людовика решена, она восклицает: «Наконец-то мы торжествуем!» Люсиль изливает с подогретым пафосом в дневнике свою ненависть к королеве. «О злодейка, — пишет она, обращаясь к Марии-Антуанетте, — женщина, не заслуживающая, чтобы тебе светило солнце. Как, ты думаешь, что месть небес не упадет на твою голову, что ты победишь? Нет, быть может, уже близок день, когда бедствия, причиненные тобой, обернутся против тебя, ты будешь рыдать тогда, но будет поздно, никто не сжалится над тобой. Вспомни со страхом об участии королей, которые, как ты, творили зло. Смотри: одни из них погибли в нищете, другие вззошли на эшафот, вот участь, которая, быть может, ждет и тебя».

События шли своим чередом. Жиронда, избравшая тактику гнилых компромиссов и протестовавшая против казни Бурбонов, сама попадает на скамью подсудимых в Революционном трибунале, а затем на эшафот. Люсиль была связана в самом начале революции благодаря Камиллу уза-

ми дружбы с Бриссо и Петитоном; она впоследствии вспомнит о том, что Бриссо соединил ее руку с рукой Камилла. Но во время борьбы с Жирондой и разгрома жирондистов жена Демулена ни словом не отмечает происходящего в своем дневнике. Якобинец Демулен ведет бешеную атаку на Бриссо и бриссотинцев — и они перестают существовать для Люсиль еще раньше, чем их настигает кровавая развязка.

Разве могла она сомневаться в правильности того, в чем был уверен Камилл. Люсиль знала и охотно повторила бы все его доводы в пользу казни недавних друзей, но, кроме господина Дюпlessи, никто из окружавших ее и не пытался бы спорить и защищать врагов революции.

Едва навсегда замолкли жирондисты, как Демулен повернул оружие против недавних союзников в борьбе с бриссотинцами, против левых.

«Ужасные бешеные» особенно возмущали Люсиль; не имея достоинств жирондистов, их изысканного красноречия, учености, изящества, они смели нарушать спокойствие состоятельных граждан, стремясь обеспечить чрезмерные преимущества беднякам, которых, по мнению Люсиль, вполне достаточно одарила революция. Их посягательства на право частной собственности и личной свободы попросту изумляли жену Демулена, как наглая бессмыслица. Какой вред, наивно спрашивала она, мог быть для свободы в том, что ее родные имели крупную ренту, имение и серебряные сервизы, составлявшие приданое и наследство дочери. Но не только «бешеные», но и близкие к ним по настроению «эбертисты» вызывали ее возмущение. К тому же один из них, Шометт, который дошел до такой пакости, как не раз думала Люсиль, что посмел громогласно отрицать существование бога, был нехорош собой, невежлив и не стеснялся в обществе дам выражаться так, как будто был «среди простонародья». Слушая Камилла, который ругал эбертистов за их налоговую политику, обременявшую богатых, Люсиль никогда не забывала напомнить о том, что «расфранченный грубиян», редактор «Отца Дюшена», опять, проходя мимо нее, «неприлично засмеялся». Его жене, г-же Эбер, тоже неизменно доставалось от «нежной Люсиль» за пестрые, безвкусные наряды и простоватое лицо.

Узнав, что Камилл вновь приступает к изданию газеты, его жена громко высказывала свою радость, предвкушая расправу с эбертистами. Она знала по опыту с Бриссо,

какая опасность таится в пере влиятельного журналиста. В конце 1793 года вышел первый номер «Старого кордельера», просмотренный еще благожелательным Робеспьером; впрочем, в дальнейшем, когда Робеспьер почувствует, что под видом нападения на ультраевых метят в него самого, политическая распря навсегда разбросает Максимилиана и Камилла по разным лагерям.

Равнодушная прежде к пролившейся крови главарей Жиронды, Люсиль все чаще пугалась теперь того, что террор принимает массовый характер и на эшафоте умирают то бывший поклонник матери, то родственник, то знакомая дама. В такие дни Люсиль не раздвигала кисейных занавесок и пряталась в комнате сына от страшных, еще ни на чем не основанных опасений, что и ее ждет смерть на помосте. В такие дни она встречала возвращающегося домой Камилла бессвязными мольбами немедленно бросить Париж и ехать в имение, где можно, занимаясь хозяйством, жить в мире и спокойствии. Но все же это были только редкие приступы, от которых оказался не свободным и Камилл — слабый, невзрачный и поверхностный политик, к которому и в 1793 году отлично подходила характеристика, данная ему тремя годами раньше Маратом:

«Несмотря на весь ваш блеск, вы еще неопытны в политике. Вы больше принесли бы пользы отечеству, если бы ваш шаг был увереннее и тверже, но вы в своих суждениях шатаетесь из стороны в сторону: сегодня порицаете то, что одобрите завтра. По-видимому, у вас нет представления о таких вещах, как план или цель».

Предчувствуя и опасаясь того, что будущее несет ему и Люсиль потрясения и беды, Камилл в письме к отцу высказывает, между прочим, и такие беспокойные, пессимистические мысли: «Почему я не могу оставаться неведомым настолько же, насколько я известен. Где то убежище под землей, которое укроет меня с моей женой, моим ребенком и моими книгами от взоров всех?» Он тщетно ищет путей отступления: дезертировать поздно. И надеясь, что спасение в победе, он развигивает неистовое наступление на противников в лагере эбертистов. Но Люсиль еще гонит от себя страх перед надвигающимся несчастьем, она усердно приглашает гостей и старается воскресить прежнюю беспечность, дарившую в ее доме на улице Одеона. Однажды, в тот момент, когда прислуга вносила в розовую столовую поднос, уставленный севрскими чашками с дымящимся шо-

коладом, Люсиль, ударяя по столу своей маленькой ручкой, с шутливым вызовом говорит, обращаясь к друзьям Камилла, которые предостерегают его от словесного поединка с Робеспьером: «Позвольте ему исполнить свою задачу, пусть он спасет родину». И, кокетливо ставя чашки на стол, очаровательная Люсиль добавляет: «Тот из вас, кто будет ему мешать в этом, не получит от меня ни капли шоколада».

Игровое настроение Люсилли, однако, длится недолго. В самом конце 1793 года она не раз делится своей тревогой с семнадцатилетней женой Дантона Луизой. Но робкая, религиозная подруга не интересуется политикой, боится крови и не знает, что ответить на горячие доводы жены Демулена о том, что нужно «убрать Шометта и его банду» для того, чтобы навсегда разобрать и сжечь гильотину. Порицая жену Дантона, Люсиль свысока говорила об ее умственной ограниченности, удивляясь тому, что могло так понравиться Дантону. Она осуждала Мариуса (кличка Дантона) за совершение брачной церемонии у неprisягнувшего священника, за охлаждение к государственным делам после женитьбы и за готовность пропустить заседание и оставить приятелей, лишь бы не уходить из дома или проехаться с Луизой в свое имение.

С начала 1794 года Камилл Демулен в «Старом кордельере» повел чудовищную кампанию против эбертистов. Не оставаясь в долгу, эбертисты отвечают нападками на дантонистов и Демулена, который в своей газете доходит даже до того, что требует восстановления религии — этого «рычага законодателя», и, готовя гильотину своим противникам, демагогически взывает о милосердии для всех прочих граждан.

Сперва обнадеженная полемическим воодушевлением мужа, Люсиль понемногу опять возвращается к страху, к прежней боязни предстоящего. Посещая якобинский клуб, бурлящий и грозный, читая газеты, она начинает отдавать себе отчет в том, что попытка встать против революционной стихии несет ее мужа к бездне. Кто может еще спасти дело ее Камилла?.. Дантон?.. Но он самонадеян и уверен в том, что революция не решится посягнуть на головы его единомышленников: Фабр д'Эглантин беспринципен и невлиятелен; есть еще один друг — Фрерон, на его участие Люсиль может надеяться, помня, как упорно он уверял ее в своей любви. К Фрерону пишет Люсиль, умоляя его при-

ехать в Париж на помощь Камиллу, и жалуется на травлю, поднятую и против нее эбертистами:

«Эти чудовища осмелились упрекнуть Камилла в том, что он женился на богатой женщине... Ах, пусть они никогда обо мне не говорят, пусть они забудут о том, что я существую, пусть они поселят меня в пустыне. Я ничего не требую от них, я оставляю им все, чем я владею, чтоб только не быть вынужденной дышать тем же самым воздухом, что и они. Если бы я могла забыть их и все страдания, которые они нам причинили! Жизнь становится для меня тяжелым бременем. Сладкое, чистое счастье, тебя похитили у меня. Мои глаза наполняются слезами, я скрываю эту страшную боль в глубине сердца, я показываю Камиллу веселое лицо, я притворяюсь мужественной, чтоб и он был мужествен». Но Фрерон отделяется шуточным ответом и остается в провинции, не желая рисковать головой.

Неслыханно заостренные полемические наскоки Демулена вызывают озлобление демократических мелких буржуа, руководимых Робеспьером: они подозревают в нем предателя. Люсиль падает в обморок в клубе якобинцев, когда Эбер предлагает исключить Камилла из членского списка, по примеру клуба Кордельеров. Две незнакомые женщины участливо выводят жену Демулена в еще безлиственный, сырой от зимних дождей сад бывшего монастыря св. Якова и стараются ее успокоить, но она вырывается, падает на землю, стонет, точно уже слышит смертный приговор, произнесенный Демулену. Быть исключенным из клуба да еще по обвинению в сношениях с реакционером и изменником генералом Диллоном! О, Люсиль знает хорошо, чем это грозит. Когда она опять входит в зал клуба, с защитой Камилла выступают Дантон, Колло д'Эрбуа и наконец Робеспьер. Максимилиан, стремящийся в первую очередь уничтожить «крайних левых», в чем удачно ему помогал Демулен, еще не желает нанести удар дантонистам, хотя некоторые из них и кажутся ему излишне уклонившимися вправо.

В истерическом напряжении Люсиль ловит слова Робеспьера. С трудом она разбирает смысл речи «неподкупного», он говорит об очевидном безумии редактора «Старого кордельера» и предлагает не исключать его, а ограничиться только сожжением вредной и бессмысленной газеты.

Едва замолкает Робеспьер, на трибуну вскакивает посеребренный, растрепанный Камилл. Непрестанно заикаясь, он старается перекричать ревуший зал. Теряя всякую сдержан-

ность и осторожность, Демулен, чтобы разоблачить тонкую игру Робеспьера, заявляет, что «Старый кордельер» просматривался Максимилианом, и требует его к ответу как своего соучастника. Хладнокровно и кратко, нисколько не желая быть объявленным союзником дантонистов, Робеспьер напоминает Камиллу, что просмотрел не более двух номеров газеты. Изнемогающая от беспокойства и нервной дрожи, Люсиль присутствует при исключении Камилла из членов Якобинского клуба.

С момента исключения Камилла из клуба над его домом повис ужас. Стук об мостовую ружейного приклада, грузные шаги пешеходов, громыханье кареты или телеги бросали Люсиль к окну. Она прижималась к стеклу, плохо видя заплаканными глазами, шептала наивные молитвы и кутала лицо в занавеску, если не могла сдержать громкое рыданье, чтобы не слышал Камилл, который то сидел, молчаливо и тупо уставившись в одну точку, то писал без конца, зачеркивая и начиная сызнова, то принимался неестественно весело играть с сыном. Иногда, не желая ни на минуту расставаться с мужем, Люсиль сопровождала его в Ксент или к друзьям.

В ночь с 30 на 31 марта Люсиль долго не ложилась спать. Камилл, опустив на руки голову, сидел у стола, на котором лежало письмо его отца, сообщавшее о смерти жены, суетливой и доброй старушки. Смерть матери, как предзнаменование, потрясла Камилла. Люсиль тихонько вышла из столовой, оставив мужа наедине с его тяжелыми думами. Беспокойно прислушиваясь к ночной тишине, она принялась за свой ночной туалет: расчесала волосы и одела чепец — как вдруг где-то на улице прозвучали, приближаясь, чьи-то шаги, ровные и гулкие, как бой барабана. Заслышав военную команду, Люсиль бросилась к Камиллу, растерянно поднимавшемуся из-за стола. Увидев жену, он прошептал, точно прохрипел агонически: «Меня пришли арестовать».

Люсиль закричала протяжно и жутко впервые уже тогда, когда лица смолкли и патруль, уведший в Люксембургскую тюрьму Камилла, скрылся за поворотом. Но вместе с вырвавшимся воплем, услышав который прислуга заохала, думая, что госпожа сошла с ума от горя, к Люсиль возвратилась непреодолимая потребность действия. Она рвалась к Камиллу, без которого не хотела жить, как тигрица к похищенному детенышу, и готова была любой ценой рассчиты-

ся с теми, кто посмел забрать у нее мужа. Днем и ночью, неряшливо одетая, Люсиль металась по городу, по разным учреждениям или стояла, как загнипнотизированная, в Люксембургском саду, против тюрьмы, где находился Демулен. Иногда на улице она вдруг раздражалась бранью и угрозами по адресу правительства, вызывая пугливые, сострадательные взгляды прохожих. Желая разделить заключение Камилла, Люсиль стремилась быть арестованной. «Почему я на свободе? Думают ли люди, что я не осмелюсь поднять свой голос лишь потому, что я женщина? Рассчитывали ли они на мое молчание?» — говорила она.

Бросаясь от одного средства освобождения Камилла к другому, она пробует написать, напоминая о бывшей дружбе, Робеспьеру, которого считает наиболее влиятельным человеком в Париже. В ее письме к нему перемешаны мольбы и обвинения.

«Камилл видел, как зарождалось твое честолюбие, — пишет Люсиль, — он предчувствовал тот путь, которым ты пойдешь, но он помнил вашу старую дружбу и, далекий как от черствости твоего Сен-Жюста, так и от твоей низкой зависти, он отбросил мысль поднять обвинение против своего школьного друга».

Робеспьер не ответил на письмо Люсиль, и его молчание она поняла как приговор. Отчаянье придает ей отвагу и толкает на безрассудные поступки. В бессонные ночи в ее воспаленной голове зарождаются невыполнимые проекты: то она хочет стать во главе восстания, которое освободит Камилла, то вдруг ей кажется возможным подкупить тюремщиков и устроить узнику побег.

Истерические стенания Камилла в его последних письмах к жене звучат в ушах Люсиль как призыв к мести, они развешивают ее мозг. В одном из них Камилл пишет, как бы упиваясь своими муками:

«...О моя дорогая Люсиль! Моя горячо любимая. Я невинен, но часто чувствую себя слабым как супруг, отец и как сын. Если бы еще Питт или Кобург так жестоко обращались со мной, но не мои же коллеги: не Робеспьер, подписавший ордер на мой арест, не республика после всего того, что я сделал для нее. Вот награда за все мои добродетели и жертвы... — пишет Демулен, забывая о своих роковых ошибках и готовности ослабить силы революции пропагандой реакционных и вредных идей. Ничто не могло спасти его, когда он попытался задержать поднимающийся все выше

и выше революционный вал.—Я только что вернулся с допроса у комиссаров правительства, — продолжает он. — Меня спросили, не находился ли я в заговоре против республики. Какая чепуха! Неужели можно так позорить республиканца чистейшей воды. Теперь я вижу, какая участь ждет меня. Прощай... Прости меня, моя возлюбленная, настоящую свою жизнь я потерял в ту минуту, когда нас разлучили, прости мне, что теперь я живу своими воспоминаниями. Я должен был бы постараться, чтобы ты забыла о них. Моя Люсиль, мой добрый Лулу. Живи для Горация, рассказывай ему обо мне. Ты скажешь ему то, чего он от меня не сможет услышать, что я его очень любил.

Несмотря на то, что я иду на казнь, я верю, что есть бог. Моя кровь искупит мои ошибки, слабости человечества, а то, что было во мне хорошего — мои добродетели, моя любовь к свободе, — будет вознаграждено богом. Я увижусь с тобой, Люсиль. Разве при моей чувствительности смерть, которая освободит меня от зрелища стольких преступлений, такое уж большое несчастье? Будь здорова, моя жизнь, моя душа, мое блаженство на земле... Я вижу, как бежит от меня берег жизни. Я вижу еще Люсиль. Я вижу ее, мою горячо любимую. Моя Люсиль, мои связанные руки обнимают тебя, и голова моя, уже оторвавшаяся от туловища, глядит все еще своими умирающими глазами на тебя».

Накануне казни дантонистов Люсиль видели перешептывающейся со сторожем Люксембургской тюрьмы. Сен-Жюст в Комитете общественного спасения сообщил, что обезумевшая и разъяренная против патриотов жена Демулена пытается организовать мятеж в гюрьмах, что ее главным сообщником является генерал Диллон, гнусный изменник, заключенный в Люксембургской тюрьме.

Пятого апреля, в полдень, на опустевшей площади возле гильотины стояла телега, на которую, разговаривая о погоде, урожае, детях, палач и его помощники складывали тела только что умерших дантонистов. Головы казненных рослый мускулистый Сансон, любовно вынимая из корзины, подолгу рассматривал, прежде чем бросить на груды туловищ, сваленных раньше. Мертвый Камилл с открытыми, выпученными глазами не понравился Сансону, брезгливо вспомнившему, как только что дрожал и боялся Демулен гильотины.

Люсиль пошла в тюрьму, словно на зов Камилла, спокойно и радостно. Мистическая вера в бога сулила ей встре-

чу с Камиллом, и смерть становилась желанной. После короткого допроса вдова Демулен была осуждена на смерть.

Хладнокровно выслушав приговор, Люсиль сказала: «Итак, я скоро буду опять иметь счастье видеть своего Камилла».

Из тюрьмы она написала матери прощальную записку: «Доброй ночи, моя милая мама, слеза падает из моих глаз: она для тебя. Я усну покоем невинности».

Разодевшись для казни, как для желанного свидания, Люсиль Демулен спустилась к воротам тюрьмы, где приговоренных ждала тележка палача. Ее белую вуаль, наброшенную поверх волос, как когда-то во время венчания в Сен-Сюльписе, то развеивал, то пригибал к земле весенний ветер. В «тележке смерти» Люсиль увидела бывшего прокурора Коммуны Шометта и госпожу Эбер, которых, как и ее, везли на гильотину.

Галина Серебрякова

ЖЕНЩИНЫ
Э П О Х И
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



Веб-публикация: *Vive Liberta*

ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА

Женщины

ЭПОХИ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1958

Теруань де Мерикур

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие А.З.Манфреда

Теруань де Мерикур

Симона Эврар

Манон Ролан

Клер Лакомб

Люсиль Демулен

Елизавета Леба

Мадам Тальен

Жозефина Бонапарт



Свыше ста лет тому назад в Сальпетриере, парижском убежище для умалишенных, умерла женщина, имя которой было на устах всего Парижа в первые годы революции. Свыше двадцати лет провела она в железной клетке «для буйных». Дни и ночи безумная просиживала на соломенном тюфяке, лепеча бессвязные фразы, или дико кричала, преследуемая кровавыми воспоминаниями прошлого. Грязная и изможденная, она внушала сострадание.

Восьмого июня 1817 года в толстой больничной книге против ее имени проставлено короткое «умерла». Опустилась вымощенная каменными плитами камера, в которой без проблесков разумной мысли столько лет металась несчастная женщина. Эта пятидесятипятiletняя сумасшедшая была Теруань де Мерикур, «красная амазонка», ведущая без страха толпы голодных на приступ королевского Версаля.

Анна-Жозефина Тервань, впоследствии изменившая свою фамилию на благозвучную Теруань де Мерикур, родилась в 1762 году в маленькой бельгийской деревушке Маркур. Отцом Анны-Жозефины был малоземельный крестьянин, обремененный налогами и заботами о детях. Каждый лишний рот был непосильным грузом для семьи. Пришлось рано подумать о том, чтоб отправить Анну-Жозефину «в люди»; ее предназначали в прислуги. Расставание с родными для девочки было очень тягостным: любовь к своей семье навсегда останется сильным чувством у Теруань.

Место нашлось в деревушке неподалеку, но служила она там недолго. Юная Тервань из Маркура понравилась богатому англичанину, который, уезжая в Англию, берет ее с собой. Отъезд в Англию означал превращение робкой золушки Анны-Жозефины в героиню шумных светских пождений Теруань де Мерикур.

По отрывочным биографическим сведениям (в жизни Теруань многое осталось невыясненным), она вскоре начинает вести в Англии жизнь беспорядочную и разнообразную. Она многому научилась, легко усвоила необходимые знания: жеманное кокетство, светские манеры. Пробыв несколько лет в Лондоне, где она вращалась в среде кутящей денежной и купеческой аристократии, Теруань отправляется в Париж, к тому времени охваченный противоречиями и борьбой. Не улавливая признаков революции, она живет праздно и беззаботно. Однако в легкомысленной куртизанке сохраняется непосредственный демократизм недавней крестьянки: она не забыла своего детства, когда помещик и сборщик податей лишали ее родных краюхи хлеба. Теруань не порывает со своей деревней и семьей, не скрывает своего происхождения. Один из ее братьев проявляет способности к живописи, и, подметив это, она устраивает его отъезд в Италию, обращается к друзьям и покровителям с просьбой руководить его образованием. Своих богатых поклонников Теруань разоряет с полным равнодушием. У нее появляются дом, брильянты, блестящий выезд, слуги и деньги. Расчетливая и трезвая, Теруань решает обеспечить себя постоянной рентой.

Ей удастся достигнуть этого: один из друзей действительно подписывает следующее характерное для эпохи обязательство:

«Николай Дуйэ де Персан, дворянин, маркиз де Персан, Граф де Ден и де Пато, обязуется выплачивать девице Анне

Теруань, несовершеннолетней, пять тысяч ливров ежегодной пожизненной ренты с уплатой в два срока в году. Этот договор составлен в виду получения вышеозначенным маркизом де Персан пятидесяти тысяч ливров от девицы Теруань. Он сможет освободиться от уплаты ренты возвратом этой суммы».

Обеспечив прочное благосостояние, Теруань де Мерикур стремится перестроить свою никчемную жизнь. Талантливая и умная, постоянно неудовлетворенная, она не хочет ограничиться ролью «содержанки».

Когда-то в Англии итальянские певцы находили у нее незаурядный голос, и, вспомнив об этом, Теруань уезжает в Италию учиться пению. Впереди мелькает заманчивая карьера певицы. Она пишет из Италии своему банкиру и другу Перрего о надеждах и мечтах, связанных с работой над постановкой голоса.

Эти письма поражают деловитостью, умением разбираться в денежных вопросах и постоянным беспокойством о близких. Стил, образы и сравнения Теруань говорят о начитанности и впечатлительном уме. Она много занимается, увлекаясь классической литературой древних, собирает значительную по тому времени библиотеку.

В 1789 году, узнав о событиях во Франции, Теруань бросает мечту сделаться певицей и мчится в Париж, полная энтузиазма, готовая окунуться в самую гущу событий. Революция в этот период еще бескровна. Очутившись в Париже, Теруань переживает полное перерождение, ее неустойчивый, бунтующий характер впитывает и воплощает в себе порывы масс и их протест. Праздной куртизанки больше нет и не будет. Все силы она отдаст делу, в котором найдет полное удовлетворение. Теруань идет вместе с «людьми улицы», распевает революционные гимны, проклинает аристократов, поклоняется первым звездам революции — Мирабо и Лафайету. Вначале она теряется в толпе, ничем не выделяясь, но очень скоро Теруань пойдет впереди и поведет угнетенных за собой. В толпе она различает женщин, крайне отсталых, забытых, обездоленных. Теруань де Мерикур, добрая, чуткая и пережившая немало горя и унижений, становится организатором-вождем женщин. В первоначальных опытах журналистики и ораторства она формулирует то, чего женщины еще не осознали. Теруань, никогда не бывшая ни матерью, ни женой, инстинктивно находит доступ к их мыслям, желаниям и страданиям.

ям. Женщины охотно подчинялись неотразимому ее влиянию, и популярность Теруань быстро возрастала. Она как бы олицетворяет женское освобождение.

Много лет спустя русские реакционеры XIX века, воевавшие против раскрепощения женщин, превращали имя Теруань де Мерикур в нарицательное.

Теруань де Мерикуры
Школы женские открыли...
Для того, чтоб наши дуры
В нигилистки выходили....

писал в шестидесятых годах прошлого столетия поэт Щербина, высмеивая борьбу за эмансипацию женщин, которую вела русская революционная интеллигенция.

В некогда роскошном особняке Теруань с первых дней революции все перевернуто вверх дном. Там создается своеобразный клуб, где бывают представители всех революционных партий, журналисты, политики, поэты и обсуждаются волнующие события дня. Это было в утро революции.

Четырнадцатого июля 1789 года Теруань, пренебрегая опасностью, — среди смельчаков на мосту Бастилии; одна из первых она врывается в крепость, прокладывая себе дорогу шпагой. Толпа устраивает ей восторженную овацию.

Несколько месяцев спустя Теруань, верхом на лошади, с пистолетом в руках, в мужском костюме, с развевающимся шарфом на шее, — впереди женщин, идущих к Версалию и требующих ответа от короля.

Под проливным дождем двигались армии предместьев к Версалию; женщины, предводительствуемые Теруань, сзывали мужчин. Их голодный бунт 6 октября 1789 года был грозным предупреждением Людовику XVI. Зажигающий пафос речей Теруань, непреклонная уверенность в победе, готовность к бунтарскому натиску — именно это нужно было голодным беднякам, которые сделали ее своей героиней.

Популярная в массах, Теруань вызвала бешеную ненависть в среде роялистов. Газеты и памфлеты аристократов называли ее не иначе как «бродячая сволочь». Пасквили, обильные карикатуры, многочисленные статьи — доказательства того, с какой настойчивостью газеты травили революцию именно в лице Теруань. Клевета по ее адресу не прекращается до 10 августа 1792 года, дня разгрома роялистов и конца монархии. Теруань припоминает уязвимое про-

шлое, давно искупленное временем и работой. Призывающую к здоровой любви и труду Теруань обвиняют в разврате, приписывая ей множество богатых любовников. Особенно изощряется в нападках на «героиню предместий» реакционный журнальчик «Деяния апостолов», где усердствуют ядовитые памфлетисты Сюло, Ривароль, Шансэне. Теруань в это время почти без средств перебивается изо дня в день, распродавая остатки имущества, закладывая пожитки в ломбарде. Последние свои драгоценности она бросает на трибуну одного из клубов, призывая женщин следовать ее примеру и организовать сбор средств на постройку дворца Национального собрания на месте разрушенной Бастилии.

В начале 1790 года Теруань, вынужденная скрываться от преследований монархистов, уезжает в родную деревушку Маркур, находящуюся в Бельгии, недалеко от Льежа. Она привозит в тихий сельский уголок революционные настроения Парижа. Ее веселый, живой ум, образный язык и безудержный энтузиазм покоряют в первую очередь деревенскую молодежь.

Земляки из Маркура распевают парижские революционные песенки, мечтают о борьбе с монархистами. Вот на деревенской улице под вечер, окруженная пестро разодетыми крестьянками, Теруань де Мерикур в десятый раз вспоминает подробности событий 5—6 октября, участницей которых она была. Отлично владея деревенскими оборотами речи, Теруань увлекает слушателей подробностями версальских происшествий. С гордостью рассказывает она, как, предводительствуя толпой голодных женщин, ворвалась в покои «австриячки», вызвав потешный переполох среди фавориток королевы. Принцесса Ламбаль, приподняв похожую на абажур тяжелую юбку, жирная мадам Елизабет мчатся следом за убегающей королевой, волосы которой распустились, усыпая пол белыми хлопьями пудры. Теруань бросается за ними, пытаясь остановить предательницу королеву. Она ненавидит Бурбонов и мечтает о низложении монархии.

На родине, в Маркуре, окруженная обожанием и поклонением своих односельчан, Теруань не перестает стремиться к активной работе. Ей хочется основать революционный журнал в Льеже, и с этой целью она отправляется туда. В Льеже Теруань энергично и упорно ищет средства к организации задуманного журнала. Однако жизнь ее резко меняется. Внезапно Теруань исчезает из города. Ее перепуган-

ный брат тщетно занят поисками. В опустевшей квартире нет никаких следов того, что произошло с Теруань. Пьер Тервань пишет о пропаже сестры в Париж банкиру Перрего; он допускает романтическую причину таинственного похищения.

Но исчезновение Теруань объяснялось иначе. В маленьком городе слишком известна была ее ненависть к королеве Франции, австрийской принцессе по происхождению, и, когда в январе 1791 года в Льеж вступили войска австрийских интервентов, Теруань арестовали по доносу французского дворянина-эмигранта Лавалетт и отправили под специальным конвоем в австрийскую крепость Кюфштейн. Плен и неизвестность мучили Теруань, она рвалась во Францию. Сознательно лгала на допросах, добиваясь быстрого освобождения. Ей удавалось изредка посылать из крепости друзьям и брату письма, в которых она не забывала просить о том, чтобы больше всего берегли ее библиотеку. Во время ареста у нее отобрали сочинения Сенеки и Мабли.

В инструкции, данной следователю, австрийские власти так характеризовали Теруань: «Ее фанатический энтузиазм в отношении всего, что связано с идеями демократии, общенизвестен». Австрийцы пытались запугать французскую революционерку вечным заточением и вынудить у нее признание в «государственной измене». Под влиянием пережитого Теруань тяжело заболела. Пришлось перевести ее из крепости в Вену, где она пробыла еще некоторое время под домашним арестом. Следствие затягивалось, доносы дворян-эмигрантов на Теруань не были подкреплены доказательствами; следователь склонялся к прекращению дела. К этому же времени Теруань добилась приема у императора Леопольда Австрийского, которого заинтересовала необычная пленница. Во время свидания с ним Теруань решительно и хладнокровно высказывала свои революционные идеи и готовность бороться со всеми монархами мира за свободу и равенство. Леопольд решил на рыцарский жест: Теруань получила освобождение и, кое-как выбравшись из Австрии, едет в Брюссель.

В сентябре 1791 года во Франции проводится закон, отменяющий все судебные преследования против участников революции, начатые монархическим правительством. Теруань поспешила воспользоваться этой амнистией и в начале 1792 года, горя нетерпением и потребностью участво-

вать в борьбе, опять появляется в Париже. В якобинском клубе ее встречают громовой овацией, ораторы приветствуют ее гражданскую доблесть, перечисляют политические заслуги и преклоняются перед ее неженскою храбростью. В ней видят жертву, героическую мученицу, выравшуюся из крепостных стен, куда хотели запрятать ее эмигранты и австрийцы.

Первого февраля Теруань излагает якобинцам историю своего ареста и подробности заточения в Кюфштейне. Она убедительно доказывает, что единственный способ укрепить свободу во Франции состоит в том, чтобы повести беспощадную войну против мятежников-эмигрантов и европейских деспотов. Заканчивая свой доклад, Теруань, горевшая желанием отомстить австрийцам, уверяла слушателей, что французская революция имеет многочисленных друзей в Голландии, в Германии, вплоть до императорского дворца. Призывы Теруань к наступательной войне нашли особенно сочувственный отклик в газете «Французский патриот», издававшейся жирондистом Бриссо.

В это время начинается пора наибольшего расцвета умственных и ораторских сил Теруань. Она проводит дни в дворцах Пале-Рояля, в Тюильри, ставших местом общественных собраний, в редакциях газет, среди женщин предместий, на трибунах клубов. Демулен, Дантон и другие отзываются с восторгом об остроумных и патетических выступлениях гражданки Теруань. Равенство с мужчинами — не словесное, а последовательно осуществленное в обыденной и политической жизни, в учении и работе, — было провозглашено как один из лозунгов революции именно Теруань де Мерикур. Ее импровизированные речи и обращения к гражданам полны неотразимой убедительности. Большую речь, заканчивающуюся предложением приступить к организации военного батальона амазонок, Теруань произносит в «Братском обществе», передавая знамя женщинам Сент-Антуанского предместья: «Гражданки! Не забудем, что мы должны целиком отдать себя отечеству. Вооружимся: природа и даже закон дают нам право на это; покажем мужчинам, что мы не ниже их в доблести и храбрости; покажем Европе, что француженки сознают свои права и что они стоят на уровне идей XVIII века, презирая предрассудки, которые бессмысленны и безнравственны, поскольку именно добродетель объявляется преступлением. Француженки! Сравните то, чем мы должны были бы быть в обще-

стве, с тем, чем мы являемся. Чтобы познать наши права и наши обязанности, нужно обратиться к суду разума, и, руководясь им, мы сможем отличить справедливое от несправедливого... Французенки! Повторяю вам еще раз — наше назначение высокое; сокрушим наши оковы, пора женщинам выйти из того постоянного ничтожества, в котором они находятся, столь давно поработанные невежеством, гордостью и несправедливостью мужчин; вспомним времена, когда наши матери, галльские и гордые германские женщины, участвовали в общественных собраниях и сражались рядом со своими мужьями, отражая врагов свободы... Великодушные гражданки, вы все, слушающие меня! Вооружимся, приступим к военным упражнениям, откроем запись в списке французских амазонок, и пусть в них записываются все те, кто действительно любит свою родину...»

В Сент-Антуанском предместье Теруань устраивает женский клуб. Три раза в неделю женщины проводят в нем вечера, занятые чтением, диспутами и практической общественной работой. Это очень скоро начинает вызывать недовольство мужей: дети без присмотра, обед не разогрет, костюм не починен, жены нет дома. Брожение в мужской среде против «шляющихся по собраниям женщин» принимает настолько большие размеры, что в клубе якобинцев ставится вопрос о закрытии женского клуба.

Когда же обсуждался вопрос о чрезмерном феминистском рвении гражданки Теруань, дебаты разгорелись, вскрывая подлинные чувства собрания. Недаром многие толковали декларацию прав «человека» как декларацию прав «мужчины». Робеспьер сухо отрекся от каких бы то ни было симпатий к гражданке Теруань. Кое-кто из ораторов отзывался о ней и ее работе среди женщин с платоническим сочувствием, но большинство решительно требовало возвращения женщин к домашнему очагу. Женский клуб был закрыт единогласным постановлением.

Двумя годами раньше Теруань пыталась быть принятой полноправным членом якобинского клуба. Однако просьба ее не была удовлетворена. Клуб отклонил прием в члены женщину, отметив, впрочем, в постановлении, что так как церковный собор в Маконе признал наличие у женщины души и разума, то нет оснований запрещать ей далее развивать свои способности. В течение двух лет революции, как

видно, женщины добились немногого. Но в момент народных восстаний вырастают и значение и роль женщин.

Десятого августа 1792 года, когда измена короля стала очевидна и народ двинулся в Тюильри, Теруань, как всегда, была в авангарде... Она призывает к мщению. В бою беспощадная и решительная, Теруань принимает непосредственное участие в расправе с Сюло, молодым роялистским писателем, рьяно защищавшим монархию своим язвительным пером.

Утром 10 августа отряд вместе с Теруань находился около дворца короля — Тюильри на Фельянской террасе. Туда привели партию захваченных монархистов, переодетых в форму революционного патруля. Среди арестованных оказался Сюло. Теруань ненавидела его за бесконечные насмешки, которыми он осыпал ее в реакционной парижской прессе. Она добивается разрешения у полицейского комиссара на то, чтобы Сюло и десяток других арестованных были тотчас же судимы публично... Толпа беспощадно расправляется с ними. Сюло умирает под ногами разъяренных женщин.

Наступает сентябрь. Происходит так называемая «сентябрьская резня» заключенных в тюрьмах аристократов и подозреваемых в сочувствии монархии. Вслед за этим обострится внутренняя борьба якобинцев с Жирондой. Теруань была втянута в борьбу партий.

Что побудило Теруань примкнуть к жирондистам? Воинственная революционерка, демагогическая феминистка, она отступила, когда окончательная победа над монархией открыла новую страницу якобинской борьбы против умеренной буржуазии, не желавшей дальнейших социальных потрясений. Известно, что на нее имел большое влияние умный, красноречивый жирондист Бриссо, с которым она была связана дружбой. Воинственный пафос Бриссо и Жиронды в вопросах внешней политики, казалось ей, перекликался с ее собственными призывами вести беспощадную войну с европейскими деспотами, заточившими Теруань в крепость Кюфштейн, и был ей гораздо больше по душе, чем неприязнь к захватническим войнам со стороны Робеспьера и якобинцев. Обострение гражданской войны, которое вело к террористической диктатуре якобинцев, казалось ей только гибельной внутренней распрей перед лицом внешнего врага, армии интервентов контрреволюционной коалиции. Теруань становится проповедницей мира и согласия.

Весной 1793 года, незадолго до исключения жирондистов из Конвента, она обращается ко всем секциям Парижа с примирительным воззванием. «Ко всем 48 секциям» — так называлась составленная ею расклеенная по городу прокламация-афиша, начинавшаяся словами: «Граждане! Куда мы идем? Нас увлекают все страсти, которые искусно можно было разжечь, мы почти на краю гибели. Граждане! Остановитесь, пора одуматься». Теруань рисует дальше картину начинающейся междоусобицы: «В нескольких секциях уже имели место уличные столкновения, предвестники гражданской войны; нужно внимательно и спокойно рассмотреть, кто такие вызывающие их провокаторы, чтобы узнать, кто наши враги... Граждане! Остановитесь и одумайтесь, иначе мы погибли... Наступил момент, когда общий интерес требует, чтобы мы объединились и пожертвовали своей ненавистью и страстями ради общественного блага». Теруань пытается показать, что победа монархических армий интервентов, наступающих в союзе с эмигрантами, жаждущими реставрации, грозит истреблением всех примкнувших к революции, без различия партий. И она считает, что женщины могут обеспечить внутренний мир в Париже. Надо избрать в каждой секции шесть гражданок, «наиболее добродетельных и серьезных, чтобы примирять и объединять граждан и напоминать об опасностях, которые грозят отечеству». Эти гражданки будут носить шарф с надписью «дружба и братство» и будут охранять порядок в общественных собраниях.

Предложение Теруань не получило применения. Увещевания были бесполезны, борьба жирондистов и якобинцев быстро шла к кровавой развязке. Воззвание Теруань было, конечно, жирондистским по духу. Она теряла прежнюю тесную и непосредственную связь с революционным движением и не понимала кровных нужд народных низов. Это стало причиной ее гибели.

Незадолго до 31 мая 1793 года, дня изгнания вожаков Жиронды из Конвента, Теруань находилась в Тюильри. Перед дворцом женщины предместий, озлобленные бедствиями войны, безработицей и недоеданием, кричали: «Долой бриссотинцев!», «Мы требуем низвержения Бриссо!» Они бросились к проходящим депутатам-жирондистам с угрозами. Потрясенная Теруань наблюдала начинающееся восстание с каменного дворцового подъезда. Вдали показалась немного сутулая фигура Бриссо. Он шел, нерешительно и

боязливо поглядывая на разъяренных санкюлотов. Теруань побежала ему навстречу; она надеялась, что ее вмешательство оградит Бриссо от нападения. Она ошиблась: женщины-якобинки не могли простить ей перехода в лагерь ненавистных «бриссотинцев». Завидя Теруань рядом с самим Бриссо, олицетворявшим для них измену и предательство, они пришли в ярость. «Прекрасную лжеуазку», как называли Теруань в предместьях, схватили десятки женских рук и, не слушая мольбы, изорвав платье, жестоко высекли.

На следующий после избития день в парижской газете «Окружной курьер» сообщалось:

«Одна из героинь революции потерпела вчера маленькое фиаско на Фельянской террасе: Теруань набирала сторонниц в партию Жиронды. К несчастью, она попала на приверженков Робеспьера и Марата, которые, не желая увеличивать партию Бриссо, схватили вербовщицу и отстегали ее с подобающим усердием.»

Рассудок Теруань де Мерикур получил непоправимую трещину на каменных плитах дворца Тюильри.

Галина Серебрякова

ЖЕНЩИНЫ
Э П О Х И
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



Веб-публикация: *Vive Liberta*

ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА

Женщины

ЭПОХИ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1958

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие А.З.Манфреда

Теруань де Мерикур

Симона Эврар

Манон Ролан

Клер Лакомб

Люсиль Демулен

Елизавета Леба

Мадам Тальен

Жозефина Бонапарт

Под редакцией А. З. Манфреда

Оформление художника
Л. Зусмана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, которой предпосланы эти строки, собственно говоря, не нуждается в рекомендации. В свое время, в тридцатых годах, она вышла за короткий срок четырьмя изданиями и была переведена на восемь языков; сам этот факт красноречиво свидетельствует о ее признании читателями.

«Женщины эпохи французской революции» Галины Серебряковой — это не роман, не повесть, не сборник рассказов, словом, не беллетристика в обычном понимании этого термина. Но это и не историческое исследование, не научный труд, подчиненный строгим требованиям методологии и техники исторического письма. Иные называют этот жанр беллетризированной историей, другие — исторической беллетристикой. Но не в названии дело и вряд ли стоит о нем спорить. Речь идет о биографиях реальных исторических лиц, в реальной исторической среде, показываемых, однако, не с точностью и строгостью историка, а средствами художественного изображения. Если добавить, что этот жанр был представлен в литературе именами таких мастеров, как, скажем, Стефан Цвейг в зарубежной или Анатолий Виноградов — в отечественной, советской, не говоря уже о других авторах, то, думается, будет не нужным доказывать право на существование этого жанра.

Понятно, что каждый писатель, задавшись целью написать портрет или биографию исторического деятеля, решает эту задачу по-своему, в соответствии со своим мировоззрением, идейными взглядами, своей манерой письма, решает ее теми приемами и средствами, которые он находит наилучшими. И все же, при всем индивидуальном

своеобразии любого историко-литературного портрета, вышедшего из-под пера писателя, мера его ценности будет зависеть не только от его художественных достоинств, но в значительной степени и от того, насколько сумел художник проникнуть в изображаемую им историческую эпоху, увидеть ее, понять ее и приблизиться к исторической правде.

Книга Галины Серебряковой принадлежит к числу тех сочинений биографического жанра, когда с первых строк повествования и далее на всем его протяжении перед читателем зрительно предстают города, улицы, события, люди, вещи, о которых автор ведет рассказ. Чаще всего изображаемая автором картина рисуется не полностью; читатель видит лишь некоторые тщательно выписанные детали ее: узкий председательский стол в готическом сумрачном зале церкви св. Евстахия, где заседает «Общество революционных республиканок»; ванну, в которой был убит Марат, ванну странной формы, напоминающую огромный начищенный ботинок; косынку, заколотую с умелой небрежностью поверх светлого платья Манон Ролан; соломенный матрац с жестко царапающими сухими стеблями в одиночной камере тюрьмы Ла Форс.

Эти подробности, переданные с большой точностью, заставляют читателя верить в их достоверность и позволяют ему по этим так скрупулезно выписанным деталям восстановить и всю остальную, не дорисованную писателем часть исторической картины.

И читатель, даже не специалист-историк, ощущает, что эта способность автора зрительно представить далекие, отделенные от нас почти двумя столетиями, картины прошлого, вдохнуть жизнь в полустершиеся от времени изображения событий и лиц, передать колорит и аромат эпохи,— это достигнуто не только талантом писателя, но и большим, кропотливым, тщательным трудом, предшествовавшим собственно литературной работе.

Автор иногда прямо указывает на источники, которыми он пользовался, подготавливая свою книгу. Рассказ о Люсиль Демулен — жене популярного публициста революции Камила Демулена — Галина Серебрякова начинается с изображения портрета молодой дамы, висящего в одной из зал музея Великой французской революции в Париже. Но автору нет надобности ссылаться ни на музей Карнавале, ни на другие собрания памятников той исторической эпохи. Та почти протокольная точность, с которой Галина Серебрякова описывает кухонный нож, с черной рукояткой, в бумажном футляре, купленный за 40 су, нож Шарлотты Корде, поразившей насмерть Марата, не может быть отнесена к художественному вымыслу писателя; она результат изучения памятников эпохи, и автор здесь выступает скорее как историк-реставратор, нежели как художник.

Галина Серебрякова обращается к той исторической эпохе, которая неизменно привлекала и до сих пор привлекает внимание историков, философов, социологов, художников слова и кисти.

Французская буржуазная революция XVIII века была крупнейшим, переломным событием в истории нового времени. Она нанесла сокрушительные, уничтожающие удары феодализму, она расчистила почву Франции от феодального хлама, от сковывавших развитие страны феодальных пут. Здесь нельзя не вспомнить знаменитого определения Маркса: «...Исполнительная метла французской революции XVIII столетия смела все эти остатки давно минувших веков и очистила таким образом общественную почву от последних помех для сооружения здания современного государства»¹.

Из всех буржуазных революций прошлого французская революция XVIII века с наибольшим основанием и правом именовалась великой революцией. Такой она представлялась не только в сознании современников или ближайшего к ним поколения, ощущавших или живо помнивших грандиозность социальной битвы, потрясавшей не только Францию, всю Европу, весь мир. Такой она сохранилась и в сознании значительно более поздних поколений, имевших возможность уже трезво оценить ее значение и место в свете длительного исторического опыта развития общества за полтора столетия, минувших со времени штурма и падения Бастилии.

В. И. Ленин писал: «Возьмите великую французскую революцию. Она недаром называется великой». И Ленин далее раскрывал, что именно делало ее великой: она дала миру такие устои буржуазной демократии, буржуазной свободы, которые были уже неустрашимы, она оказала, несмотря на свое поражение, столь глубокое и сильное влияние на все последующее развитие, «что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции»².

Первая французская революция смогла выполнить до конца стоявшие перед ней задачи, смогла стать классической буржуазной революцией в смысле завершения борьбы против феодализма до полного его разгрома, главным образом потому, что она была народной, буржуазно-демократической революцией. Хотя буржуазия, рассматриваемая в целом, была в ту пору молодым, прогрессивным, революционным классом и стояла во главе революции, необычайную силу

¹ К. Маркс, Гражданская война во Франции. К Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIII, часть II, стр. 310.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 342.

и размах придали революционным событиям лишь народные массы. Творческое участие народных масс в революции, пробуждение к жизни миллионов забитых, замученных, подавленных феодальным гнетом людей, увидевших в заре над запылавшей усадьбой сеньора зарю нового мира, их решимость и воля защищать свою родину — все это сделало силы революции преодолимыми. Народ был главным действующим лицом революции, он двигал, он толкал революцию вперед, обеспечивая ее развитие по восходящей линии. Именно творческое участие народных масс — крестьянства, городского плебейства в революции, от которой они ждали полного удовлетворения своих социальных чаяний и стремлений, вело революцию от одного этапа к другому — более высшему: от господства феодальной буржуазии, после того как она скатилась на позиции контрреволюции, — к господству жирондистской буржуазии и, после того как жирондисты повторили эволюцию своих предшественников, — к наивысшему, героическому периоду якобинской диктатуры. И хотя народные массы не смогли, конечно, изменить классового содержания революции, она оставалась буржуазной и сохранила, даже на своем якобинском этапе, присущую всякой буржуазной революции ограниченность, — революционное творчество народных масс наложило на всю революцию и созданные ею институты глубокий отпечаток. Более того, именно решающая роль народных масс в революционном процессе, в борьбе с неисчислимыми врагами республики — силами внешней и внутренней контрреволюции, и обусловила одну из своеобразнейших особенностей французской революции — ее высшем этапе: разрешение задач буржуазной революции плебейскими методами.

Эта крайняя напряженность социальной борьбы, размах и величие революции, ее героика, ее драматизм, ее необычайно богатое социальное содержание, раскрывшее в действии и до конца роль всех общественных классов, партий и групп, — все это побуждало писателей, и по прошествии многих десятилетий после революционной бури XVIII века, возвращаться вновь и вновь к этой старой, но всякий раз по-новому воспринимаемой теме.

Бальзак, Виктор Гюго, Анатоль Франс, Ромен Роллан, — я называю здесь лишь имена самых крупных мастеров французской литературы, — каждый в свою эпоху, обращались к этой вечно живой теме, освещая ее по-своему и по-новому. Писателей, в особенности авторов, работающих в биографическом жанре, естественно, привлекали фигуры выдающихся деятелей первой французской революции, ее вождей или характерных ее представителей. Сколько романов, драм, биографических этюдов, историко-литературных портретов посвящено Жоржу Дантону, Максимилиану Робеспьеру или герою либеральной буржуазии Оноре Мирабо.

Герои, или, вернее, героини, книги Г. Серебряковой — исторические персонажи совершенно иного масштаба. Им никогда не доводилось играть главной роли ни в решающих событиях, ни даже во второстепенных эпизодах революции. Их имена не занесены крупными буквами в летописи революции; в официальной истории революции они не упоминаются вовсе или набраны петитом. Даже если бы их роль в революционных событиях была большей, чем в действительности, то и тогда внимание к ним не возросло бы: женщины во времена французской революции, как известно, были лишены политических прав и уже по одному этому оставались за пределами официально запечатленной истории тех лет.

Это, однако, отнюдь не исключает того, что их роль в событиях великой буржуазной революции XVIII века, как, впрочем, и многих других, когда женщины оставались политически столь же бесправными, была в действительной, неофициальной, закулисной жизни довольно велика.

Было бы, конечно, неправильно оценивать роль женщин во французской революции как какую-то главу в истории феминистского движения. Предшественница Галины Серебряковой по этой теме — Эмма Адлер в своей известной книжке о женщинах французской революции, вышедшей полвека тому назад, подчеркивала прежде всего борьбу женщин за равноправие. Но Эмма Адлер писала свою книгу, когда не только в отсталой габсбургской Австро-Венгрии, но и в остальной Европе не было и подобия женского политического равноправия; ее книга преследовала пропагандистские и практические цели.

В первой французской революции феминистское движение было еще слабо развито и ничем не замечательно.

Главные усилия поднявшегося на борьбу народа были направлены против контрреволюции, против интервенции могущественной коалиции европейских держав, и в этой справедливой освободительной войне, в этом мощном народном движении, толкавшем вперед развитие революции, женщины шли плечом к плечу вместе с мужчинами. Разделяя вместе со своими мужьями, братьями, сыновьями тяготы и лишения, горести и радости этой невероятной по остроте и напряжению борьбы, французские женщины той эпохи были мало озабочены отсутствием у них равных с мужчинами политических прав.

Образы женщин во французской революции конца XVIII века представляются нам интересными прежде всего потому, что они позволяют нам лучше понять характер, дух, внутренний мир революционной эпохи. Рисую действующих лиц, не занимавших никакого официального положения, находившихся по своей юридической природе не на авансцене, а в тени, или за кулисами исторической драмы, писатель

по самому характеру материала, которым он оперирует, должен обращаться не к парадной, не к внешней, не к официальной истории, — он должен проникнуть в глубинные, не видимые с первого взгляда, процессы. И хотя, выясняя и обрисовывая роль женщины в революции, писатель, конечно, не увидит все скрытые пружины и подспудные силы развертывавшихся событий, — для этого надо было бы изучать еще очень многое иное, — он все-таки приоткрывает часть неизвестного, он покажет эпоху, события, людей так, как они рисуются не при ярком свете исторической рампы, а естественное и, значит, ближе к исторической правде — в их повседневном, будничном освещении.

Галина Серебрякова собрала — под одним переплетом — галерею женских портретов. Их восемь: это портреты Теруань де Мерикур, Симонны Эввар, Манон Ролан, Клер Лакомб, Люсиль Демулен, Елизаветы Леба, Терезы Тальен, Жозефины Богарне.

Исторические образы этих женщин столь различны, — и не только по своим индивидуальным, неповторимым чертам, но и по социальным связям, по политической ориентации, по месту, которое каждая из них занимала в бурных событиях и связанной с ними менявшейся расстановке общественных сил, — что на первый взгляд может показаться даже неожиданным и произвольным объединение этих столь разных портретов в одной авторской галерее. Про это собрание нельзя даже сказать, что в нем представлены портреты женщин французской революции. Тереза Тальен, например, или Жозефина Богарне — будущая императрица, с гораздо большим основанием могут быть отнесены к буржуазной контрреволюции, чем к революции. Но если мы вспомним название, данное автором своей книге, — «Женщины эпохи французской революции», то будет понятным и оправданным соединение столь различных женских портретов в одной галерее и вместе с этим станет яснее и общий замысел автора в его книге историко-литературных биографий.

Легко заметить, что Галина Серебрякова расположила в книге портреты своих героинь в порядке определенной последовательности. Автор идет за ходом революционных событий. Переходя от одной биографической новеллы к другой, он поступает отнюдь не произвольно: он строго придерживается историко-хронологической последовательности, он стремится через портреты своих героинь показать в динамике развития эпоху революции.

Книга открывается портретом знаменитой в свое время Теруань де Мерикур, игравшей одну из наиболее ярких, хотя и кратковременных ролей в революционных событиях. Этот образ вводит нас в первый, начальный этап революции — бурные месяцы решающего натиска на абсолютизм третьего сословия, объединившегося в единодушном

порыве. Это время первого опьянения свободой, иллюзией всеобщего братства, радужных надежд, бескрайних горизонтов. Теруань де Мерикур появляется — в действии, среди народа, штурмующего ненавистную крепость, тюрьму Бастилию, — в первый же день революции. Ее роль возрастает; и в событиях 5—6 октября — она одна из предводительниц трудящихся женщин Парижа, пошедших походом на Версаль. В широкой шляпе, украшенной трехцветной кокардой, перетянутая красным поясом, с заткнутыми за него пистолетами и кинжалом, как Теруань запечатлена на гравюрах того времени, она представлялась живым олицетворением революции. И хотя политическая биография Теруань де Мерикур продолжается и в следующие годы революции и Г. Серебрякова доводит рассказ о ее судьбе до конца, имя Теруань остается связанным прежде всего с первым годом революции — 1789 годом, когда она, бывшая актриса, играла — уже не на театральных подмостках, а на сцене истории — лучшую из своих ролей, изображая саму революцию в ее первом держании.

За Теруань де Мерикур следует Симонна Эввар — жена и товарищ Жан-Поля Марата — «друга народа». За первым, очерченным крупными линиями портретом Симонны Эввар проступает второй портрет, выписанный гораздо более тщательно и детально, — убийцы Марата Шарлотты Корде. Едва ли автора можно упрекать за это: большая тщательность и достоверность в деталях изображения Шарлотты Корде, по сравнению с Симонной Эввар, в значительной мере объясняется конкретно-историческим материалом, находившимся в распоряжении автора. Само же сопоставление, или, вернее, противопоставление в рамках одной биографической новеллы этих двух женских образов, на мой взгляд, правильно и удачно. Какими легендами, вымыслами было украшено имя Шарлотты Корде, героизируемой всей буржуазной историографией и публицистикой за совершенный ею террористический акт против «друга народа»! Сталкаявая обеих женщин — Корде и Эввар — на пороге комнаты Марата, в час его убийства, противопоставляя расцветшему изображению Шарлотты Корде неяркий, едва очерченный карандашным наброском образ простой женщины из народа, навсегда оставшейся верной высокому чувству долга, автор находит новые, художественно убедительные средства развенчания Шарлотты Корде. И ценность этой небольшой исторической новеллы не в том, что здесь сталкиваются два женских образа, два сильных женских характера, а в том более широком значении, которое имело это столкновение: борьбы двух политических партий, борьбы Горы и Жиронды, дошедшей в своей непримиримости до убийства Марата.

Этот же исторический этап в развитии революции — борьбы Горы и Жиронды — раскрывается в портрете Манон Ролан. Жена

жирондистского министра, намного превосходившая своего мужа умом и политической проницательностью, негласный, незримый вдохновитель ряда политических шагов жирондистской партии, подсаженных либо мужу, либо, — за чашкой чая, в созданном ею политическом салоне, — другим жирондистским лидерам, Манон Ролан была, хотя и неофициальным, естественно, но одним из влиятельнейших участников ожесточенной борьбы Жиронды против Горы. Галина Серебрякова, опираясь на документальный материал: воспоминания Манон Ролан, ее переписку, исполнила ее портрет с большой тщательностью, стремясь возможно точнее передать исторически достоверные черты того времени. Еще важнее то, что писательница стремилась быть ближе к исторической правде не только в деталях быта, нравов, внешнего облика той далекой эпохи, но и в раскрытии внутреннего существа и соответственно и оценки главной героини этой биографической новеллы. Без нажима на перо, не прибегая к сгущению красок, Галина Серебрякова своим повествованием о жизни Манон Ролан развенчивает этот женский образ, который со времени Альфонса Ламартина идеализировала, поэтизировала буржуазная литература всех сортов.

Три портрета: Клер Лакомб, Люсиль Демулен, Елизаветы Леба — вводят читателя в бурную эпоху якобинской диктатуры. Главные события, главные действующие лица этого высшего и героического этапа в развитии французской революции остаются в этих биографических новеллах вне поля видимости; они скрыты за сценой или появляются лишь на мгновение смутно очерченными силуэтами. Но они, хотя и незримо, присутствуют, или, вернее, чувствуются в каждом из повествований об этих трех разных женщинах.

Портрет Клер Лакомб рассказывает о ряде эпизодов борьбы «бешеных» — самой левой группировки демократического лагеря во время французской буржуазной революции конца XVIII века. Биографический очерк Люсиль Демулен наиболее полно и ярко освещает период создания дантонистской группировки, ее борьбы против политического курса революционного правительства и ее крушения. Рассказ о Елизавете Леба — дочери столяра Дюпле, у которого жил Робеспьер, и жене Филиппа Леба, одного из близких сподвижников «непоколебимого», показывает — через восприятие простой честной женщины из народа, — свержение термидорианскими заговорщиками революционного правительства, возглавляемого Робеспьером, падение якобинской диктатуры.

Понятно, что в этих небольших историко-биографических этюдах читатель не найдет полного объяснения причин, предопределявших падение якобинской диктатуры, или истории термидорианского заговора. Такие задачи автор и не мог ставить перед собою. Но история

Люсиль Демулен и Елизаветы Леба, неожиданные повороты биографии Терезы Кабаррюс дополняют еще каким-то новым светом, неярким, слабым, идущим сквозь узкие окна женской судьбы, общую многокрасочную картину финального акта французской революции.

Автор при изображении портретов этих героинь был связан крайней ограниченностью исторических достоверных материалов, находившихся в его распоряжении. В особенности это относится к Клер Лакомб и Елизавете Леба; женщины, близкие к самым левым политическим группировкам в революции, они оставались в немилости у дворянской и буржуазной историографии, отказывавшей им в простом внимании к их судьбе. «Выйдя в последний раз — осенью 1795 года — за ворота тюрьмы, она смешалась с уличной толпой и канула в неизвестность», — так заканчивает Г. Серебрякова свой рассказ о Клер Лакомб, и эта фраза точно передает состояние знаний исторической науки о выдающейся деятельнице «Общества революционных республиканок». К чести Галины Серебряковой надо признать, что она выбрала из исторических материалов все наиболее важное для освещения биографий своих героинь, несправедливо замалчиваемых буржуазными литераторами.

Два последних портрета — Терезы Тальен, которую называли «Нотр дам де термидор» — «Божьей матерью термидора», и Жозефины Богарне — рисуют ту же эпоху под другим углом зрения: они вводят в мир буржуазной контрреволюции. Об этих женщинах написано много, значительно больше того, что они заслуживают. Г. Серебрякова, как это и естественно для советского литератора, рисует этих героинь буржуазной контрреволюции в разоблачительном тоне, без прикрас, в соответствии с исторической правдой.

Не все портреты в этой галерее женских образов в равной мере удалась автору. Полнота представления о выдающихся женщинах французской революции несомненно выиграла, если бы собрание портретов было дополнено хотя бы кратеньким биографическим очерком о Розе Баро, называвшей себя Свободой Баро, юной неустрашимой француженке, сражавшейся вместе со своим мужем в рядах Пиринейской армии. Не всегда и не во всем удовлетворяет глубина и точность исторического анализа.

Но не этим, конечно, определяется ценность книги, о которой идет речь.

Выше уже отмечались и познавательное значение историко-биографического, портретного жанра в художественной литературе и иные достоинства, присущие вновь издаваемой книге Галины Серебряковой, представляющей этот жанр.

К сказанному остается добавить лишь последнее: эта книга на-

писана талантливо. Портреты женщин первой французской революции привлекают внимание не только достоверностью изображаемых черт, точностью исторической живописи, но и тем, что они оживлены, согреты талантом мастера.

Вот почему можно надеяться, что эта книга, написанная четверть века тому назад, сможет и ныне проложить дорогу к взыскательным нашим читателям.

А. З. Манфред